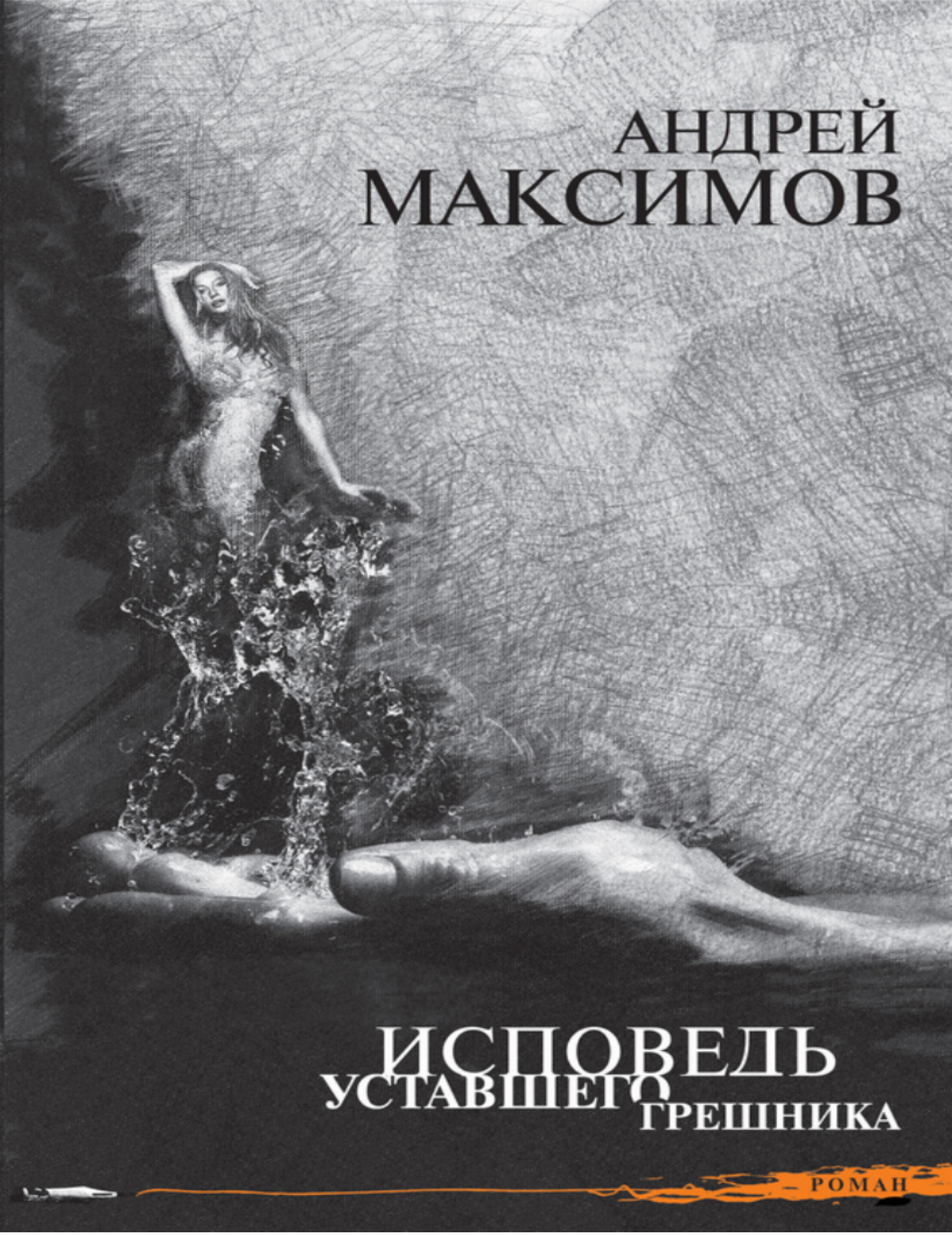
АНДРЕЙ
МАКСИМОВ



ИСПОВЕДЬ УСТАВШЕГО ГРЕШНИКА

РОМАН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Что заставляет его, нормального, вроде, человека, знаменитого театрального режиссера, народного артиста, вдруг сесть за стол и подробно описывать своему сыну, как он изменял его матери?

Что это за странная исповедь грешника, уставшего от собственных грехов? Шаг отчаяния? Попытка разобраться в себе? В окружающем мире? И к чему эта исповедь приведет? Ведь она непременно приведет к чему-то…

Новый роман известного писателя и телеведущего Андрея Максимова – пронзительная история, в которой два главных героя: любовь и театр. Они переплетаются в душе главного персонажа – русского интеллигента нашего времени – запутывают его, уничтожают и возрождают…

Увлекательный сюжет не отпускает. Театр, женщины, сын… Странный треугольник, из которого нет выхода. Или все-таки есть?

- Андрей Максимов
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  - ЭПИЛОГ
  - ВЫХОД ИЗ КНИГИ

Андрей Максимов
Исповедь уставшего грешника

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Господи, это каким же надо быть дураком, чтобы любить жизнь?

Ты вот представь себе только, что жизнь – это женщина, а? И чего? Какая это будет женщина, представил? Ну, напряги свою фантазию… Тебя же Господь наградил фантазией не только для того, чтобы придумывать про оценки в школе и появление запаха сигарет изо рта…

Жизнь – это женщина, а? Конечно, не мужчина же… Ну, и какая она? Взбалмошная, нервная, суетливая, непредсказуемая. Опереться на нее даже и не пытайся, потому что сегодня она к тебе относится так, а завтра совсем уж – сяк. В этом «сяке» живешь, и совсем уже и не знаешь даже, куда от нее, от жизни, подеваться. Потому что всегда к ней тянет – женщина все-таки… Все чего-то хочется ей доказать, приручить ее хочется, подчинить… И ведь понимаешь: если приручится она, сразу станет с ней неинтересно – что с женщиной, что с жизнью – а все одно: пытаешься зачем-то… Чего двигаться к цели, которая печаль принесет? А вот ведь: сколько живешь – столько двигаешься. Бред какой-то…

Иногда, конечно, с ней, с жизнью, бывает интересно. Но это – поначалу, пока вы не привыкли друг к другу. С жизнью, как в любом романе, сначала «ах!», потом «мм-мм», а потом уже нет ни слов никаких, ни звуков – потому как от скуки и от тоски они уже не спасут.

Хочешь, я скажу тебе, сынок, что такое старость? Старость – это вычитание удивлений. Чем старше становишься, тем реже удивляет тебя жизнь. Вот и всё. Ты просишь ее, умоляешь: удиви! порази! порадуй хотя бы… Куда там! Зачем жизни тебя удивлять, когда ты и сам ей уже порядком поднадоел?

И когда ты ей, жизни, совсем уже осточертеешь, до предельного конца, когда она – женщина! – выпьет из тебя все соки, – вот тогда-то она тебя и предаст. Причем обязательно, уж будь уверен. Всенепременно в какой-нибудь самый неподходящий момент уйдет она, жизнь, и оставит тебя наедине со смертью.

Ты кричать будешь, извиваться, молить: «Не уходи, Жизнь! Я тебя люблю! Останься…» Куда там! Плевать она хотела на тебя, твоя любимая жизнь! Ее больше нет, жизни, ушла она от тебя, опостылевшего, осталась только Смерть. С ней теперь и общайся.

Смерть может оказаться вполне себе ничего, даже лучше, спокойней и душевней жизни. Почему нет? К сожалению, о встречах со смертью никто никогда ничего не рассказывал… То

есть, так получается, что женщина-жизнь про женщину-смерть ничего не знает, а вот ведь уходит и оставляет с ней наедине. Плохо поступает. Предательски. По-женски.

А, впрочем, кто их там разберет, Жизнь и Смерть, что они друг про друга понимают?..

Здравствуй, Сын!

Как нередко у нас с тобой бывает в последнее время, я забыл с тобой поздороваться…

Я знаю, что ты не прочтешь то, что я здесь напишу.

Боюсь, у твоего поколения – проблемы с тем, чтобы читать слова, вы предпочитаете их видеть или слышать. Читать? Писать? Для чего, если можно поглядеть или послушать: и проще, и увлекательней…

Представляешь, ученые всерьез озабочены тем, что твое поколение вообще разучится водить ручкой по листу бумаги, и, таким образом, люди утеряют умение писать. Но не надо быть ученым, чтобы понять: в эпоху компьютера это умение становится лишним и невостребованным. Интересно, что будут помещать в музеи современных писателей, если кто-нибудь из них умудрится просочиться в гении? Может ли существовать дом-музей писателя без его черновиков? Что же выставлять в широких витринах? Компьютерные файлы?

А еще ученые утверждают: умение писать – это одно из главных отличий человека от животного. Значит, если человек разучится писать, он может превратиться в животное? Слушай, а вдруг в этом и есть единственный шанс спасения человечества: превратиться в зверей? Животным ведь никогда не придет в голову мысль: уничтожить землю. И вообще, звери – существа, куда более разумные, добрые, и, в конечном счете, естественные, нежели мы. Поэтому, если бы люди превратились обратно в животных, стали бы жить по их законам и относиться друг к другу по-звериному – это могло бы спасти и нашу Землю, и нас самих.

Ты помнишь Кузю? Нашего огромного, меланхоличного пса с такими печальными глазами, что, когда меня спрашивали: «Какая порода у вашей собачки?», я неизменно отвечал: «Еврейская овчарка». И никто никогда не удивлялся, понимая: собака со столь грустными глазами, конечно, должна называться только так. Еврейская овчарка – это бренд. Беспородный пес – это правда. Да разве есть такой человек, которому правда понравится больше, чем бренд? Разумеется, нет. Это до чего ж мы полюбили бренды, а ведь когда-то легко обходились без этого слова, я, например, большую часть своей жизни вообще не знал, что это такое – бренд.

Я опять отвлекся…

Ужасно, что я тогда не смог приехать, чтобы похоронить Кузю, потому что я был… Да это вовсе и не важно, с кем и где я был, важно, что не приехал. И до могилы нашего Кузи – собаки, которая любила всех и до самой смерти своей так и не смогла поверить в то, что в мире существует зло – до могилы собачьей я так и не добрался никогда.

Кузю хоронила мама, я никогда не спрашивал подробностей. Мама рассказала только, что Кузю зарыли в лесу на красивой поляне. Она еще сказала, что объяснит мне, как туда доехать, если я захочу. Я захотел. Но не доехал.

Жалко все-таки, что мы не похоронили Кузьку на специальном собачьем кладбище, ведь, когда люди опять станут зверями, собачьи кладбища превратятся в мемориалы.

Конечно, звери тоже бывают жестоки. Однако в их поведении всегда существует логика: они не бывают жестоки просто так. У людей: бессмысленная жестокость, то есть борьба за самого себя. А у животных – оправданная, логичная жестокость, а это совсем другое дело. Животные борются за Жизнь, и Жизнь их любит за то, что они за нее бьются. Жизнь с нами, людьми, не заодно, а с ними – заодно. Так что ваше поколение, разучившись писать, сделает первый шаг к озверению человечества – тому самому озверению, которое может нас всех спасти.

У меня была идея поставить спектакль про прекрасных зверей и ужасных людей. Хотел про львов. Красивые такие, благородные… Я начал про всё это думать, читать… И вычитал, представь себе, что если погибает лев и львица выходит замуж за другого самца, она уничтожает все свое потомство от первого мужа. Нормально? Чтобы вообще памяти о нем не осталось, чтобы крови его на Земле не осталось. Ради любви убивает собственных детей…

Ну, что ж это за любовь такая, если даже прекрасных животных она превращает в подлецов? Лев говорит львице: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты…» А она отвечает: «Секундочку. Сейчас детей от предыдущего брака убью, и начнется наша волнительная любовная история». Обидно…

Так что про львов не получилось. Придется ставить «Гамлета». Когда-нибудь, когда соберусь с силами. Соберусь же я когда-нибудь с силами, ведь правда?

Говорят Мейерхольд… Был такой великий режиссер, тебе неведомый… Так вот, говорят, он просил написать на своей могиле «Здесь лежит режиссер, который никогда не хотел поставить «Гамлета». Но у Мейерхольда нет могилы: эти советские суки убили его заодно с другими, и заодно бросили в общую могилу. И никакая любовь его не спасла. Его любовь,

великую актрису Зинаиду Райх, задушили в постели в собственном доме. То ли просто так, то ли – чтобы отобрать квартиру… Впрочем, отобрать квартиру и просто так – это ведь одно и то же, не так ли?

Если ты дочитал до этого места, тебе уже стало скучно. Ваше поколение не любит, когда нет экшена. Вам кажется, что человек проявляется в поступках, а вовсе не в раздумьях.

Я тут полистал «Гарри Поттера» твоего любимого, искал словосочетание «Гарри подумал». Не нашел. Зато через страницу: «Гарри решил», «Гарри понял»… Решительное поколение. Хоть бы вы уже в зверей поскорей превратились, что ли…

Несколько… дней… недель? месяцев? лет?.. Что-то такое любовь делает со временем? Она, любовь, не то, чтобы его убыстряет или замедляет… Она уничтожает время. Тут одно из двух: или любовь, или время. Они как-то не соединяются…

Так вот. Случилось, что я увидел женскую спину. Да-да, как я теперь понимаю: в сущности, то, где я сейчас оказался, началось именно с того мгновения, когда я увидел женскую спину…

Хочешь, я скажу тебе фразу, над которой ты будешь радостно насмехаться? Это ведь излюбленное занятие детей: радостно насмехаться над своими родителями. Еще Фрейд заметил: сын рождается только для того, чтобы победить своего отца. Так вот, пока не получается победить делом, бьют усмешками.

Вот тебе фраза для усмешек:

> Случилось, что я увидел женскую спину, которая перевернула всю мою жизнь, а, может быть, даже ее уничтожила… Я пока не могу этого понять.

Каково?

Я не видел лица, не видел фигуры, я видел только длинные ноги и прямую спину.

…Кстати, сынок, экшена и в дальнейшем не предвидится, так что запросто можешь всё это не читать.

Знаешь, что я тебе скажу, сын мой: мне вообще плевать, станешь ты всё это читать или нет. Наплевать мне, слышишь? Ты что думаешь: это исповедь блудного отца? Да пошел ты знаешь куда, если ты так думаешь!!! Я очень люблю тебя, сынок, ты у меня – единственный, но, если только ты подумаешь, что перед тобой исповедуется твой отец, то иди отсюда в туманную даль, чтобы я тебя за туманом разглядеть не мог. В таком случае, будем разговаривать про то, про что разговаривать принято, про что треплются все отцы со всеми детьми: про школу, про оценки и про прочую лабуду, которая ни тебя, ни меня не волнует. Понял меня? Ты, как правило, понимаешь меня быстро. Маму любишь, а

меня боишься и потому понимаешь быстро и исполнительно.

Никакая это не исповедь! И, в частности, не исповедь отца! Понял? Я пишу не для исповеди, нет. Я стучу по этим компьютерным клавишам, чтобы меня не разорвало на несколько килограмм говна и несколько литров черной вонючей крови. Вот и всё.

Ты когда-нибудь нюхал кровь? Знаешь, как она воняет? О, она воняет тошнотворно, омерзительно. А ты видел когда-нибудь вывороченные наружу кишки человека? Страшная картина, скажу я тебе. Вот ведь мы, люди, как удивительно созданы: собственное нутро ни нюхать, ни видеть не можем. Собственное, замечу, нутро – и ни нюхать, ни видеть. Вот ведь оно как…

Главное, душу наизнанку выворачивать – это, пожалуйста, это сколько угодно! Тут только свистни – и понеслась! Наверняка ты уже радостно рассказывал какой-нибудь прыщавой девчонке интимности про свою жизнь и удовлетворенно замечал, как от твоего рассказа влажнеют ее глаза, и был убежден: это и есть самый главный и самый верный признак любви. Тебе казалось: она тебя понимает, а, значит, любит. Не ошибись, сынок. Если тебе удастся найти женщину, которая полюбит тебя за страдания, считай, что ты выиграл в самой главной лотерее мира. Мой мальчик, они любят нас за силу.

Так о чем я? Да! Почему люди так не любят свои и чужие внутренности? Хотя бы из чувства благодарности ко всем этим внутренним органам, благодаря которым мы и живем, могли, казалось бы, не падать в обморок при виде своего вспоротого живота. Так нет же… А душу при этом обнажают с легкостью; и даже, когда какой-нибудь человек рассказывает о себе гадости, он всё равно делает это с удовольствием.

А я тебе объясню, почему так происходит. Всё просто. Душа – всегда твоя, а тело – всегда чужое, временное пристанище твоей собственной души. Поэтому так тошнотворен запах собственной крови, поэтому, когда человек видит свою рану, он не испытывает жалости к пораженному органу, а испытывает страх, смешанный с отвращением. Дом нашей души нам отвратителен: конечно, чужой дом не может стать родным!

Что ты сказал? Ты сказал, что это – пустая философия? Запомни: философия не бывает пустой, если на её выводах строится жизнь. Когда ты однажды полюбишь по-настоящему, полюбишь так, как я полюбил когда-то твою мать, ты вдруг поймешь абсолютно точно: отдавать любимой свое тело не жалко и даже приятно – чужое оно, пусть берет, а вот отдавать ей свою душу, отдавать ей то, что, на самом деле, и есть ты, твое естество, твоя сущность – вот, где ужас, вот, где страх.

Любовь – это обмен душами, мой мальчик, и больше ничего. Страшный, кровавый, делающий человека несвободным и беспомощным, обмен самым главным и самым сущностным…

Отношения, где нет этого обмена, называются блядством, против которого я, в общем, ничего не имею. Что плохого в удовольствии, которое испытывают тела? Только блядство – это не любовь. Это его единственный недостаток, впрочем, может быть, достоинство, кто знает?

Ну, и вот. Когда я увидел эту уходящую ввысь спину и ноги цапли, удаляющиеся по нашему длинному театральному коридору, я изо всех сил постарался ничего не почувствовать, не ясно от чего и по какой причине понимая, что сейчас совершается посягательство на мою душу. Ничего не произошло, а я почувствовал: начинается.

«В моем театре – женщина, которую я не знаю?» – попытался я пошутить с самим собой, прекрасно сознавая: с этого момента жизнь моя перевернется.

x x x

После своей странной, до конца не объяснимой болезни мама стала другой. Такое вот ей пришлось пережить заболевание – заболевание, которое переделывает людей.

Об этом мамином недуге, перевернувшем всю нашу жизнь, мы с тобой никогда не говорили, никогда его не обсуждали, и ни ты, ни я не позволяли себе ни слова жалости по маминому адресу. Да и что говорить, если доктора – люди, называющие сами себя «специалисты» – и те, мало что понимают в этой таинственной хвори? Когда болит свое (но, по сути, чужое) тело, тут все просто: техника, аппараты, анализы, рентгены – томография… Ля-ля-ля – получите диагноз или направление в морг – это уж как повезет! А вот когда болит своя собственная душа – тут что делать, как исследовать? В какие томографы лезть? Куда светить рентгеном? И диагноза, по сути, нет, и как лечить – непонятно. Такие дела… И хватит об этом.

Одно я понял точно: эта хворь уничтожает душу, превращает человека в кого-то другого. Та Ирка, – которая, как я думал до недавнего времени, была моей единственной настоящей любовью, – осталась в «до болезни».

Странная история: тело то же, а душа – иная, значит, и человек иной, незнакомый, неясный…

…Пятнадцать лет назад?.. Или шестнадцать?.. Семнадцать?.. Боже Мой, сколько ж лет прошло с тех пор, как мы познакомились

с твоей мамой?..

Какая разница!

Но я помню, как она откинула прядь своих густых рыжих волос, и я подумал: какое отвратительное, мерзкое, пошлое словосочетание: «она откинула прядь своих густых рыжих волос»! Ужас! Могла же мне прийти в голову такая пошлость! – едва не воскликнул я, но тут же снова подумал: как все-таки она красиво откидывает свои густые рыжие волосы, черт бы их подрал!

Она запускала руку в волосы и откидывала их, чуть улыбаясь при этом. Она просто поправляла прическу, но мне почему-то казалось, что она демонстрирует, как это прекрасно: опускать руки в густые рыжие волосы…

А потом я посмотрел на ее грудь…

Да, сынок, так оно и было, потому что женщина всегда останавливает взгляд мужчины чем-то таким, что отличает ее от других: высокой худой спиной, или рыжими волосами, или еще чем-то, чего у других нет.

Но потом мужчина все равно смотрит на её грудь.

– У меня некрасивая грудь, – сказала твоя мама.

Представь себе, это была ее первая фраза! Впрочем, не исключаю, что это была первая ее фраза, которую я запомнил.

Той Ирки, которой после первой нашей ночи, я сказал, что у нее – очень красивая грудь, и – черт бы ее побрал! – копна густых, рыжих волос… Я так и сказал тогда: «копна», я произнес это мерзкое слово, и всю жизнь теперь буду помнить, что в первую нашу ночь я произнес это отвратительное, пустое слово. Бред какой-то! Если бы в пьесе, которую я читал, какой-нибудь персонаж в первую ночь с любимой женщиной произнес словосочетание «копна волос», я бы тут же перестал читать эту пьесу. Но так было, черт возьми! Именно так и случилось в первую с твоей мамой ночь: я сказал и про грудь, и про «копну»…

Что это я всё время отвлекаюсь?..

Так вот. Той Ирки – Ирки нашей первой ночи – больше нет. Она осталась в том времени, которое называется «до болезни», то есть, в сущности, она умерла. Той Ирки, которая сказала мне: «Жить ради любимого – это не жертва, а счастье», и я, как дурак, поверил этой мелодраматической фразе. Той Ирки, которая могла зарыдать, когда я рассказывал ей замысел будущего спектакля. Той Ирки, наконец, которая подарила мне сына. Ее не было больше.

Сначала это надо было понять, а потом – поверить. Понимал я долго… А поверил сразу.

Я тогда ставил чеховские «Три сестры». (Интересно, помнишь ли ты этот спектакль, или ты тогда был слишком мал, чтобы его

запомнить?) Мамину болезнь и, главное, ее последствия я смог пережить, потому что меня спас Чехов.

Запомни, сынок: работа – это единственная женщина, которая тебя никогда не предаст, если ты ее действительно любишь. И, главное, на твою любовь она всегда отвечает взаимностью, – вот ведь какая штука. Точнее, только работа всегда отвечает взаимностью на твою любовь.

Чехов… «Три сестры»… Мне хотелось поставить историю про никчемных, пустых людей, которые всю жизнь собирают чемоданы, но никуда не едут, для которых пустые мечтания и есть жизнь. А саму жизнь они терпеть не могут.

Вообще, должен тебе сказать: мало найдется в русской, да и во всей мировой литературе писателей, которые бы столь искренно и столь страстно не любили людей, как не любил их «певец интеллигенции». Нам почему-то кажется, что он их просто обожает со всеми их пустыми разговорами и ничегонеделаньем. Мы отчего-то решили, что эти бессмысленные, бездеятельные и очень неинтересные люди и есть символы русской интеллигенции, которых боготворит и воспевает Чехов. На самом же деле, Антон Павлович пишет про людей, которые его достали. Не могли не достать. Должны были достать.

Между прочим, Чехов во время своего путешествия на Сахалин, во время шторма на спор прямо с палубы корабля спустился на веревке в море, а потом поднялся. Сильный был человек, мощный, – человек действия. Почему мы решили, что он должен был любить этих бесконечно нудящих трех сестер, которые даже нянечку свою престарелую не смогли защитить от безумной Наташи? Почему он должен был сочувствовать тем, кто не в состоянии защитить свой дом от пошлости и мерзости? Почему мы решили, что он их любит? Ничто – ничто!!! – в пьесе не указывает на эту любовь.

Меня все отговаривали от Чехова. Мне объясняли, что он всем надоел, что, когда открывается занавес и зритель видит хорошо причесанных актрис в белом, а Машу в черном – зритель сразу начинает засыпать. Чеховский текст убаюкивает, убеждали меня, убаюкивает ровно так, как любая телепередача, но, чтобы посмотреть телек, не надо платить и вставать с дивана… Так для чего тогда идти на Чехова?

Твоя мама молчала. Но тогда я еще изо всех сил старался принять ее молчание за сочувствие.

Директор сказал, что у нас нет денег на Чехова. Мой верный Вася, с которым мы, собственно, и сделали наш театр, – стоял передо мной, похожий на какого-нибудь Ван Дамма или Шварценеггера.

– Согласись, – сказал мой Василий Семенович железным директорским тоном. – Сначала искать деньги на спектакль, а потом искать зрителей, чтобы заполнить зал, это безумие. – И добавил. – В наше время.

Вася принадлежит к тем людям, которые убеждены: если время диктует делать какие-то глупости, тогда это уже и не глупости вовсе, а веление времени, которому просто надо подчиниться.

– Вася, – я попытался улыбнуться. – Я обещаю тебе лом на наш спектакль. Я раздену Машу, я покажу, как она трахается с Вершининым. Потому что никакая у них не любовь, а блядство, возникшее от скуки. Голые сиськи в Чехове – это то, что привлечет сегодняшнего театрального зрителя, которому приятно будет убедиться в том, что он гораздо интеллигентнее режиссера. Современный театральный зритель с удовольствием посмотрит на пошлость, чтобы сказать потом, насколько она ему отвратительна.

– Это, действительно, пошло, – вздохнул мой Вася и нашел деньги.

Я оказался прав. Первая же рецензия на мой спектакль называлась «Опошленный Чехов», в качестве иллюстрации напечатали фото из спектакля: голая Маша рассматривает себя перед зеркалом, готовясь к встрече с Вершининым. Мы стали играть по четыре спектакля в месяц, и все равно на спектакль спрашивали лишний билетик.

Это был хороший спектакль. Это был правильный Чехов – Чехов, презирающий людей, которые умеют говорить красивые слова, но не умеют защитить свой дом.

После премьеры Ира подошла ко мне и сказала:

– Симпатичный спектакль. Смотрится легко. И актрисы у тебя в театре все с очень красивой грудью… Послушай, а, может, мне тоже у тебя в театре что-нибудь поставить?

Женщину, которая могла сказать мне такие слова после премьеры, я не знал. Я понял, что моя Ирка умерла.

Вместо нее появилась другая – та, что «после болезни». С этой, другой Ирой, мне только предстояло познакомиться. И чем больше я с ней знакомился, тем меньше она мне нравилась.

Мы любим женщин за ту любовь, которую они испытывают к нам, а женщины любят нас за внимание к ним. Когда ты ещё немножко вырастешь, ты услышишь всякую лирическую лабуду: мол, любовь возникает просто так, ниоткуда… Мол, это тайна, покрытая мраком… Ты во всё это не верь: люди всегда пытаются усложнить то, что кажется им до неприличия простым. Женщины любят нас за внимание к ним. А мы их – за любовь к нам. Вот и

вся тайна.

Та, прежняя, Ирина любила меня. Эта – себя. Больше всего на свете эта новая Ира боялась заболеть снова. Забавно, но она напоминала мне гранату, которая бережет себя от взрыва: ведь взрыв гранаты означает ее гибель. Гранату не волнует, что ее создали для того, чтобы взрываться, она тоже хочет жить, пусть тихой, никому не нужной, бессмысленной, но – жизнью!

Сначала мы с мамой ругались, потом – поругивались, потом – стали шипеть и постепенно вообще перестали обращать друг на друга внимание. Нет, мы разговаривали, даже делились какими-то, ничего не значащими новостями. Однако, казалось, что мы закрыты друг от друга прозрачной, но не пропускающей воздух пленкой. И жизнь, вроде, какая-то происходит, но – в пленке, в тумане, в невнимательности и незаинтересованности.

Пленка не рвалась и в постели. То, что Ира не интересует меня как женщина, мне казалось естественным. Но то, что я не интересую ее как мужчина, мне представлялось по-настоящему трагическим.

После сорока любой мужчина панически боится стать импотентом. И не потому только, что секс – это обязательный пьедестал, без которого мужик ощущает себя валяющимся в грязи. Главное, после сорока в мужской голове выстраивается такая цепочка: импотенция – простатит – рак – смерть. И то, что в народе называется «бес в ребро» – это, на самом деле, не что иное, как боязнь простатита…

Однажды я вошел в ванну, где мылась Ира, и понял, что твоя мама вызывает у меня эмоций не больше, чем струя воды, которая омывала столь знакомые и когда-то любимые мною формы. Даже, пожалуй, струя воды была более сексуальна, – она порождала фантазию. Ирина не порождала ничего.

(Если ты все-таки сумел дочитать до этого места, подозреваю, что все это читать тебе не очень приятно… Но, знаешь, я не хочу тебе врать, что же я могу поделать, если правда была именно такой. Правда вообще, как правило, довольно противна, и для того, чтобы часто ее не повторять, люди и придумали ложь).

Я попытался обнять Ирину, с ужасом экспериментатора отмечая, что даже прикосновение к женскому телу не порождает во мне ровным счетом ничего.

Ира оттолкнула меня и попросила, широко улыбнувшись, чтобы я не мешал ей делать какие-то там процедуры, способные омолодить ее кожу.

Она ощущала себя победительницей и по-своему, наверное, была права. Только мне абсолютно не нравилась ее победа.

Вытирая как всегда грязным носовым платком капли на лице

и на руках, я почему-то совершенно отчетливо понял, что нашей с мамой семьи больше нет. Понял без истерики, даже без тоски и печали, просто осознал спокойно, твердо и окончательно.

Однажды я сидел перед телевизором и думал. Или просто грустил. Радоваться, сидя перед телевизором, невозможно, а грустить или думать – сколько угодно. Что-то там мелькало на экране, кто-то что-то говорил, изо всех сил стараясь выглядеть умным и ироничным, почему-то в телевизоре все стараются выглядеть умными и ироничными. И вдруг я почувствовал, что мои глаза начинают сентиментально увлажнятся. Я сначала почувствовал слезы в глазах, а уже потом понял их причину. Причина была анекдотическая: на экране шла реклама, в которой семья то ли пила сок, то ли ела майонез – не важно. На зависть хорошая, рекламная семья – люди, которым вместе было спокойно и даже весело. Еще у них там собака бегала смешная, а Кузьма уже лежал в могиле, до которой я так и не доехал… Представляешь, расплакаться над рекламой – бред какой-то! Я понял, что надо срочно что-то чинить: или жизнь, или нервы, а, скорее всего, и то, и другое.

Тут вошла твоя мама и очень по-своему истолковала мой печальный взгляд.

– Придумываешь очередной шедевр? – спросила она, всем своим видом показывая, что думает о чем-то совершенно другом. – Наверное, твой следующий спектакль будет очень сентиментальным. Советую тебе раздеть не одну, а несколько актрис: больше сисек – больше зрителей, закон жанра.

И она расхохоталась.

Ира вела себя так, будто я ее обидел. А я тогда еще ее не обижал. Я тогда еще только привыкал к мысли, что смогу ее обидеть…

Когда-то твоя мама сказала мне:

– Раньше люди женились, чтобы вести совместное хозяйство. А теперь они обзаводятся семьей, чтобы спастись от одиночества. Вот ты мне абсолютно не нужен для совместного хозяйства, а одиночество без тебя не победить. Люди женятся, чтобы было с кем стареть. А все разговоры про любовь – фигня. Любовь уходит, а старость приближается. Вот и всё. Чтоб вместе стареть – иной причины для свадьбы не существует.

Мне тогда едва перевалило за тридцать, я только что возглавил театр, женился на лучшей женщине во Вселенной, мир буквально требовал, чтобы я властвовал над ним… Какая старость? О чем речь?! Старость была для меня так же далека, как какая-нибудь Никарагуа, которая, говорят, существует, но я её явно никогда не увижу…

Но сегодня я понимаю, как права была Ира… Любовь, секс, треп – это все, конечно, замечательно. Но самое сложное: найти женщину, с которой можно стареть. В последнее время мне стало казаться, что это вообще не выполнимая задача.

«Семейную» рекламу повторяли множество раз, и неизменно она действовала на меня так же, как на домохозяек любовные романы. Если хочешь, – это было моё Эльдорадо… Нет, сынок, это не магазин и не отель, – это такая волшебная страна, в которую люди стремятся всю жизнь, но отыскать никак не могут. А то, что для меня Эльдорадо воплотилась в рекламном ролике… Что ж поделать? Значит, жизнь у меня такая.

Честно говоря, запамятовал, что именно я тогда репетировал, но очень хорошо помню, как периодически меня охватывала паника: а для кого же я теперь буду делать свои спектакли? Кого я буду ими удивлять?

Я всегда завидовал своим коллегам, которые работали для публики или для начальства, им было проще: ни публика, ни начальство никуда не девались.

Мне же всегда была необходима именно женщина, которую надо удивлять. Восторг, который горел в глазах твоей мамы, когда ей нравилось то, что я делаю, не сравнить ни с какими овациями и премиями…

Я понял, что этого восторга мне не увидеть больше никогда. И вот, что я тебе скажу. Найти женщину, с которой можно переспать – очень легко. Найти женщину, с которой можно говорить – трудно, но реально. Найти женщину, с которой захочется и переспать и поговорить – очень тяжело, но все-таки возможно. Найти женщину, которую захочется удивлять – это все равно, что отыскать таракана в дорогом супермаркете. Странное сравнение? Да. Но это так же трудно, поверь.

x x x

Взгляд мужчины, рядом с которым нет женщины… не в данную секунду, а вообще в жизни… да, взгляд такого мужчины принципиально отличается от взгляда того, рядом с кем женщина есть…

Нет, я лучше бы так сказал: взгляд мужчины, которого ждет женщина, принципиально отличается от взгляда мужика, которого ждут только дела. Да, так, пожалуй, лучше.

Ты понимаешь, что я не говорю сейчас про блядунов, которые бросаются на всё, что излучает тепло. Это чисто физиологическая история, что о ней рассуждать-то? У этих придурков есть

любимая шутка: «Трахнуть всех женщин, конечно, нельзя, но стремиться к этому необходимо». Дай Бог им удачи в их нелегком деле, но говорить о них неинтересно.

Вообще, все люди на земле делятся на тех, для кого секс – цель, и тех, для кого секс – результат отношений. Первых я называю блядями и блядунами, ко вторым отношу себя.

Так вот, взгляд мужчины, которого ждут только дела, отличается от взгляда того, кого ждет женщина (а влюбленная женщина, должен тебе сказать, всегда находится в ожидании мужчины, даже если он сидит рядом), – не тем, что одинокий постоянно ищет. Не тем, что он выбирает. Не тем, что у него начинается слюновыделение при взгляде на каждую грудь. Не-е-ет.

Мужчина, которого ждут только дела; мужчина, у которого нет женщины, *не исключает романа.* Да, он нормально общается, не сально шутит, не дает воли рукам и глазам… Но он *не исключает.* И женщины это чуют. Каким-то, только одним им ведомым бабским чутьём унюхивают.

И вот ты, независимо от собственной воли, превращаешься в мужчину, которого чуют. Ты думаешь, они чуют *мужика, который не исключает*, для того, чтобы с ним переспать? Ерунда! Только наивные пацаны, вроде тебя, считают, будто женщины ищут партнера для секса. Запомни, сынок: женщины выискивают мужика, чтобы он разбудил их чувства. Женщинам необходимо нервничать, волноваться, сходить с ума, заботиться, страдать, радоваться, – потому что всё это и называется для них жизнью.

Эх, права была Ирка… Сознательно или нет, но все они ищут убежище от одиночества, и, сколько бы ни происходило в бабской жизни обломов, они все равно считают, будто единственным таким прибежищем может стать любовь. И кто посмеет сказать, что они так уж неправы?

Итак, в моей жизни наступил странный, но занятный период: я смотрел на них, *не исключая,* а они смотрели на меня, *ожидая.*

Запомни, сынок: оценивают мужчины, женщины не оценивают, женщины ждут. Время их оценок приходит потом, после того, как они дождались. Только дождавшись, они начинают задавать себе вопросы: кто? зачем? почему? что теперь? как дальше? и главное: любит – не любит?

Я стал другим, и я понимал: у меня, другого, вскоре должна начаться новая жизнь. Ведь не может же такого быть, что человек меняется, а жизнь его остается прежней? Жизнь – эта реальность, которую мы, хоть и немножечко, но сами и создаем; мы меняемся, и реальность, с некоторым даже удивлением для самой себя, тоже начинает становиться иной.

Даже в театре я стал ловить на себе ожидающие взгляды, в основном, конечно, актрис.

Должен сказать тебе абсолютно честно, что я никогда не считал актрис вполне за женщин. Все-таки древние греки были правы, запрещая женщинам играть на сцене. В самом естестве женщины заложено желание нравиться, но делать это естество профессией… Когда баба хотя бы один раз в жизни, стоя на сцене, слышит аплодисменты в свой адрес и видит устремленные на нее восторженные мужские взгляды, она перестает быть женщиной и превращается в манекен, который создали для того, чтобы он нравился. А что, разве нет великих актрис? – возможно, спросишь ты. Есть, разумеется. Есть великие манекены, есть бездарные, – вот только женщин среди них нет.

Женщины-актрисы для меня так же неинтересны, как мужчины – профессиональные охотники: нельзя превращать свою суть в профессию. Профессия должна открывать в человеке что-то новое, а зачем открывать то, что лежит на поверхности?

Ну, да Бог с ним…

Конечно, за мою жизнь пытались актрисы всяко завоевать мое внимание. Были, скажем, те, кто, заметив, что на репетициях я всегда ем шоколад, как бы незаметно – то есть, так, чтобы я увидел непременно – подкладывали черные плитки на мой режиссерский столик. Были и те, кто, зайдя ко мне в кабинет, решительно запирали дверь, садились передо мной, и, стараясь смотреть томно, как бы небрежно поигрывали грудью за глубоким декольте…

Впрочем, очень скоро в театре стало известно, что я люблю свою жену, и постепенно актрисы расстроились и увяли. Мы стали просто коллегами, и это внушало им одновременно скуку и уважение.

И вдруг эти мои коллеги противоположного пола начали смотреть на меня глазами, в которых нагло светилась печаль. Самое забавное заключалось в том, что я ведь ничего не говорил, да и говорить, собственно, было нечего. Но они что-то такое учуяли, что заставило меня понять: даже в актрисах остается эта женская тоска по разбуженным чувствам.

Тоскующие эти взгляды, рвущиеся из манекенной актерской сущности, словно кричали мне, словно напоминали постоянно: «У тебя нет женщины, ради которой можно ставить спектакль!»

Понятно, что «Гамлета» в такой ситуации не поставить, но ведь что-то делать надо. И верный мой директор Вася чуть ли не каждый день требовал премьеры. Боже мой, если бы я любил сцену так, как Вася любит кассу, я бы точно достиг Мейерхольдовских высот!

И тогда я решил поставить довольно пустую старую пьесу Нушича «ОБЭЖ: Общество Белградских эмансипированных женщин». Весьма бессмысленная, надо сказать, история, в которую можно было вставить несколько песенно-танцевальных номеров, пару легких переодеваний на сцене, несколько скабрезных шуток, – в общем, сделать вполне себе зрительский спектакль.

Директор Вася остался очень доволен моим выбором.

Но, главное, в пьесе была хренова туча женских ролей. А я еще решил репетировать двумя составами, поэтому практически весь мой женский коллектив оказался задействован! Много женщин, которые к тому же находятся в твоей власти, это всегда забавно, согласись.

Ах, какими прекрасными пришли они на первую читку! Как тщательно одеты и накрашены! Ах, это удивительное умение женщин одеться и подкраситься так, чтобы все нужное подчеркнуть, а ненужное спрятать! Слушать, как они читают текст полузабытого сербского классика, было совсем не интересно, и я разглядывал своих актрис, стараясь понять, что именно они хотели подчеркнуть, а что именно – спрятать. У каждой из них в глазах горело одно, самое главное сообщение: «Я тут! Посмотрите на меня! Здесь я!»

Однажды в театре я встретил пожилого актера. У него не было роли в новом спектакле, а сериалы как-то внезапно закончились, и он приходил в буфет выпить и поговорить. Он подсел ко мне и сказал ни с того, ни с чего: «Старею, шеф, уже не могу трахнуть женщину, если понимаю, что после секса нам не о чем будет поговорить…»

«Когда я все-таки буду ставить «Гамлета», он сыграет Полония», – подумал я, чтобы не думать о том, что судьба посылает мне очень странные знаки…

А в доме нашем как будто ничего и не изменилось, если не считать того, что как-то естественно и безо всяких скандалов мы с мамой стали спать в разных комнатах. Я проводил свои любимые вечерне-ночные репетиции, возвращался поздно, и, чтобы не будить маму, ложился не в спальне, а в кабинете. Правда, дивана у меня, как ты знаешь, нет, и я ложился на пол, бросив матрац. Поначалу было странно смотреть на мир снизу – таким, наверное, видят его тараканы или кошки. Однако очень быстро я привык и шел спать в кабинет, даже если ложился раньше мамы.

Мы по-прежнему изредка ходили в какие-то неинтересные гости. Я по-прежнему периодически играл роль отца, требовал твой дневник и произносил бессмысленные слова про необходимость хорошо учиться…

Я приносил маме цветы, которые мне иногда дарили на спектаклях, мама целовала меня и забывала поставить букет в вазу, я напоминал ей, она целовала меня, как бы прося прощения, и тут же опять забывала поставить цветы…

И Ире, и мне было совершенно очевидно, что мы расходимся по разным углам жизни, но, несмотря на пятнадцать лет супружества, а, может быть, и благодаря им, – мы делали это абсолютно бесстрастно и даже естественно. Словно прожили предназначенный нам срок, он окончился, и начался какой-то новый, со своими законами, и мы вошли в него, как в неизбежность.

Поначалу я ещё по привычке рассказывал маме про репетиции. Но говорить ей про наглую тоску в глазах моих актрис я не мог, и, боясь проговориться, о работе стал заводить разговор все реже и реже.

Мама о своей жизни вообще молчала, словно доказывая себе и мне, что сможет жить вполне самостоятельно.

Но *я* уже *не исключал.* А поскольку *я не исключал*, *я* понимал, что скоро оно придет, – то, что я не исключал.

Знаешь, за столько лет жизни с твоей мамой я забыл, что любовь всегда начинается с предчувствия. Все эти разговоры про «гром среди ясного неба», про «взгляд, который вдруг…», про «ничто не предвещало, но неожиданно…» Весь этот треп – туфта.

Любовь приходит только к тому, кто *не исключает.* И если он *не исключает*, то придет во что бы то ни стало, уж будь уверен. Для определенного типа людей, к которым, безусловно, отношусь я, любовь – непременная и обязательная составляющая жизни. И когда ее нет, ты ощущаешь рядом пустое место. А пустое место в жизни – это то, что обязательно и непременно заполнится. Обязательно и непременно.

Ты можешь делать вид, что чрезвычайно увлечен работой, или, скажем, воспитанием сына, или, например, вскапыванием огорода на даче, но если ты *не исключаешь,* — тогда кранты тебе.

И ты будешь удивляться: как гром среди ясного неба! И ты будешь нервно вскрикивать: о, Боже, этот взгляд вдруг пронзил меня! Ты будешь вздыхать: ничто не предвещало, и вдруг я увидел ту, без которой теперь моя жизнь не имеет смысла!

Удивляйся, вскрикивай, вздыхай, делай, что хочешь… Но, если ты *не исключаешь,* повторю я, то однажды ты увидишь ее, и испытаешь невероятный, панический страх, который всегда и есть предвестник любви – предвестник того вожделенного, прекрасного ужаса, который называется обмен душами. Бойся этого страха, мой мальчик, он, конечно, очень заманчив, но заманит туда, где можно поломать всю свою жизнь.

Кстати, именно этот страх я испытал, увидев высокую спину в своем театре…

Впрочем, до этого лирического мгновения надо было испытать еще немало других очарований-разочарований.

x x x

Конечно, неприятно об этом говорить, но все-таки главное, что в ней притягивало – молодость.

Отвратительно. Когда мужчина заводит роман с той, что годится ему в дочери, – стареющему Дон Жуану представляется, что он кричит на весь мир: смотрите какой я молодой! На самом же деле, он орет совсем иное: глядите, какой я старый! Я уже такой старый, что хочу всем доказать, что я – молодой!

Молодость не требует доказательств. Она просто является миру: смотри, мир, вот я какая – молодость, бери меня, хватай, пользуй! Когда молодость начинает себя доказывать, это верный признак того, что она постарела.

Ну, ничего в ней больше невозможно было разглядеть, кроме нагло бьющей в глаза молодости. Ничего такого, что отличало бы ее от других, поэтому сразу хотелось смотреть на грудь, которая тоже особого впечатления не производила. Глядя на таких женщин, обычно бросают: «Она? Да-да, конечно, красивая», и тотчас начинают разговаривать про что-нибудь другое. Такая красота не восхищает, не ослепляет, не требует обсуждений. Такая красота просит констатации. И всё, ничего иного не просит и не требует.

В юности я прочитал знаменитое стихотворение Николая Заболоцкого «Некрасивая девчонка» с ещё более знаменитым вопросом: «Так что ж она такое, красота, И почему ее обожествляют люди: Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?» Для юных и романтичных любителей поэзии ответ был очевиден: огонь.

Довольно быстро я вырос из романтики и понял, что бывает по-всякому: и сосуд, и огонь, и огонь без сосуда, и сосуд без огня… А лучше всего: чтобы сосуд – прекрасный, а в нем, чтобы огонь пожароопасно полыхал. В конце – концов, главное ведь не сосуд, и не огонь, а чтобы в глазах женщины явственно читалось: «Эй! Я тут! Видишь меня? Конкретно меня, конкретно ты – видишь?»

Она стояла у служебного входа и ждала меня. Звали ее, конечно, Марина. А как ещё могут звать юное, симпатичное создание, которое ждет режиссера у служебного входа? Ну, разве

что – Катя.

Ее звали Марина. Она стояла с букетом красных гвоздик, изо всех сил стараясь изобразить неловкость и стеснительность.

Поскольку зрители не очень хорошо понимают, чем именно занимается режиссер в театре, представителей моей профессии редко встречают поклонницы. Поэтому, в отличие от актеров, режиссер не пробегает с лицом человека, спешащего в туалет, мимо девушки с цветами, а останавливается.

Букет красных гвоздик напоминал про Первое мая, но это бы еще ладно. Марина сделала главную ошибку, которую совершает большинство женщин: на важное свидание они всегда красятся так, будто хотят крикнуть: «Смотрите! Вот я какая!» Не понимают они: мужчины ждут от них совсем иного посыла: «Посмотри, дорогой, какая я настоящая». Глядя на ярко накрашенную даму, мы всегда представляем, как она будет выглядеть без косметики, и эта фантазия нас, чаще всего, пугает.

Что-то я отвлекаюсь все время…

– Здравствуйте, – прошептала Марина ярко накрашенными губами (я тогда еще не знал, что она – Марина, но почему-то чувствовал это). – Спасибо за ваше творчество.

Голос у нее оказался вполне приятным: к счастью, в меру звонким.

– Творчество – у Анны Ахматовой, – пошутил я, уже смотря на ее грудь и думая почему-то: «Неужели с этим совершенно чужим человеком я смогу просыпаться в одной постели? Нет, засыпать – это еще туда-сюда, но просыпаться…»

Забавно: Марина была совсем не похожа на блядь, она еще ничего, по сути, не сказала, кроме глупости про творчество, но, поскольку *я не исключал,* то и рассматривал Марину как человек, который *не исключает.* А как ее еще можно было рассматривать?

У меня никогда не было секса с проституткой, представляешь? Я дожил до седых волос – и никогда!

Впрочем, нет, однажды, по молодости, в первый же вечер знакомства я приволок домой девушку, которая поразила меня невероятными размерами своей груди… Но и тогда я сумел убедить себя, что полюбил ее не за это, хоть и прекрасное, но чисто физиологическое свойство, а потому, что хотел ее морально-нравственно-культурно воспитать. Кончилось все, надо сказать, печально: мы так напились, что ходили по очереди блевать на балкон, но донести удавалось не всё, и утром я, преодолевая тошноту, оттирал застывшую блевотину, потому что девушка ушла, сославшись на работу; пришлось на нее обидеться и морально-нравственно-культурно воспитывать других…

Но с того самого утра я понял: мне нужна в женщинах не

физиология, а теплота. Почему я устроен таким странным образом, что ищу в женщинах не секс, а тепло, и чего это вдруг я так мерзну, причем с ранней юности, даже не понятно…

Именно подруга юности недавно сказала мне: «Друг мой, все красивые женщины тебе кажутся умными… Это заблуждение». Может, она и права. Подруги юности, если они остаются рядом с нами, редко выносят нам неверные оценки.

Чего ж это я отвлекаюсь всё время? Прости…

Так вот, значит, я сказал, вроде как пошутил:

– Творчество – у Анны Ахматовой.

Марина хмыкнула. Я не исключал того, что наше знакомство с ней продолжится, но за годы жизни с твоей мамой я абсолютно утерял навыки знакомств с дамами. Из какого-то замусоренного угла памяти всплыло воспоминание о том, что для продолжения знакомства необходим азарт, то есть страстное желание этого самого продолжения. Я прислушался к себе и никакого азарта не обнаружил. С желаниями, причем любыми, у меня вообще в последнее время – проблема. Я ведь просто *не исключаю*, а *не исключать* — значит: ждать, что будет дальше.

Вот я и ждал. Пауза затягивалась. Наконец Марина, глядя прямо перед собой в лужу, которая была столь грязной, что уже не могла ничего отражать, буркнула:

– Я хочу с вами встретиться и просто так поговорить…

«Что-то ей от меня надо, – подумал я. – Наверное, в театр хочет устроиться».

– Извините, что я так – сразу, – Марина не отрывалась от лужи. – Но глупо делать вид, что это не так. Вы не против со мной пообщаться? Кстати, меня зовут Марина.

Это было совершенно некстати…

«Чего все-таки ей от меня надо?» – спрашивал я непонятно кого, изо всех сил старясь не испытывать неловкости.

Неловкость – это когда хочется, чтобы быстрее все закончилось. И если бы Марина спросила: «Вы против со мной общаться?», я бы ответил: «Да», просто потому, что спорить не было сил. И желания не было.

Но она спросила: «Вы не против?», и я ответил самым коротким ответом:

– Да.

Она улыбнулась. Улыбка была не победительной, какую все чаще видел у своей жены, а тихой. И мне снова показалось, что у Марины умные глаза и высокий лоб. С грудью тоже все было нормально. Впрочем, я давно заметил: женщин с умными глазами гораздо меньше, чем женщин с красивой грудью.

– Завтра у меня репетиция заканчивается в три, – сообщил я,

и, как мне показалось – решительно, двинулся к машине. Я почему-то думал, что, когда женщина просит мужчину о свидании, он должен вести себя именно так.

Не слишком ли я мудаковат для сорока семи лет, как думаешь, сынок? Когда тебе сорок семь, уже трудно понять: то ли ты впал в детский маразм, то ли сохранил юношеский пыл, то ли просто превратился в инфантильного идиота.

Дойдя до машины, я подумал, что надо бы предложить ее подвезти хотя бы до метро – это было бы по-мужски, красиво и вообще правильно.

Я обернулся – Марина исчезла.

Ты прекрасно знаешь пустую площадку перед нашим служебным входом и понимаешь, что там негде спрятаться, даже если б Марине вдруг захотелось поиграть в прятки. В театр бы никто ее не пустил, меня она не обгоняла. Она исчезла, как испарилась.

На следующей день на репетиции я про нее не думал совсем. Вообще. Я был свободен от нее, и это мне нравилось. Правда, репетицию я закончил ровно в три, а, шагая к служебному выходу, я зачем-то подумал: «Хорошо бы она не пришла. Бог его знает, что из всего этого получится…»

Я уже открывал дверь, и в голову пришла очередная нелепая мысль: «Очень даже понятно, что получится, если она придет, тоже мне – тайна Мадридского двора».

Марина ждала меня. Во всем своем индийском макияже стояла и нервничала. Я увидел ее через стеклянную дверь служебного входа.

«Если я выйду через главный вход, мы не встретимся», – подумал я и открыл дверь ей навстречу.

Она заметила меня и покраснела. А я испугался. Первое ощущение: не радость, не восторг, даже не любопытство – страх. Не заманчивый страх предчувствия любви, о, нет, обычный такой бытовой ужас интеллигента по поводу сразу всего. Что начнутся отношения, которые бог знает, к чему могут привести; что они не начнутся и я буду по этому поводу переживать; что отношения начнутся, а я окажусь несостоятельным в каком-нибудь смысле, например, в интимном; что сейчас в ресторане буду вести себя неловко, потому что абсолютно забыл, как себя в таких ситуациях ведут; что с Мариной этой придется о чем-нибудь говорить, а я совершенно запамятовал, как разговаривать с незнакомой женщиной, если с ней не связывают никакие дела… И даже по поводу того испытывал я страх, что нас увидят работники театра и подумают бог знает что, и это всё дойдет до Ирины, хотя при чем тут Ирина, ведь всегда можно отбояриться, что это

журналистка, пришедшая брать интервью про новую постановку, хотя Ирина не будет ничего спрашивать и не дойдет до нее ничего, а ведь все равно страшно…

Вот.

Я сказал Марине:

– Здесь ресторан есть рядом.

– Я знаю, – смущенно ответила Марина. – Я там даже столик уже заказала… Вы не волнуйтесь: на вашу фамилию, чтобы неловкости не возникло… Ну, потому что там бизнес-ланч дешевый до четырех: народу много. И я вот заказала.

– Вы что живете поблизости? – почему-то спросил я.

Марина ответила быстро:

– Нет, – потом подумала немного и добавила. – Но провожать меня не надо. – Еще подумала и буркнула. – Не претендую…

«Вот, блин, – подумал я. – Её ведь точно придется провожать. Самые пробки начнутся, а живет она наверняка в каком-нибудь Зюзино-Овражкино…»

Да… Про этот аспект романа я как-то раньше не подумал. А если б подумал, то – что? Продолжал бы оставаться в своем нудном состоянии человека, который *не исключает,* то есть, надеется? Вряд ли…

Через пять минут разговора с Мариной я понял, что она меня почему-то совершенно не раздражает. Через десять я понял, что мне с ней легко. Она была очень хорошая, эта Марина, она говорила мне разные слова про мои спектакли, совершенно не хотела быть актрисой, знала, кто такой Мейерхольд, и ненавидела современную драму.

«Может быть, мне поставить «Гамлета» для нее?» – подумал я.

А почему бы, собственно, так и не подумать? В общем, с первой нашей встречи стало ясно, куда нас эти обеды приведут.

Я не знаю, как про это писать, правда.

Фраза: «… а потом мы курили, глядя в потолок, и молчали», – вызывает у меня усиленный рвотный рефлекс.

А еще есть такие слова: «ее грудь коснулась моих губ…»; «одежда слетела с нее, и я увидел прекрасное женское тело, которое отныне принадлежало мне…»

Ненавижу! Хочется блевать, приговаривая: «Так тебе и надо, мудаку, так тебе и надо».

Недавно я обнаружил у себя на столе пьесу какого-то молодого автора под названием «Сперма». Иногда мне кажется, что пьесы молодых людей, считающих себя драматургами, совершенно самостоятельно – как воробьи – прилетают в кабинет главных режиссеров и аккуратно приземляются к ним на стол. Трудно представить себе, чтобы Чехов или Толстой могли так

назвать свою пьесу. Еще труднее вообразить афишу, на которой крупными буквами написано «СПЕРМА», а ниже – моя фамилия в качестве режиссера.

«Что вы ставите сейчас?» «Сперму»… И сразу в Кащенко.

Механически я открыл пьесу где-то посередине, и сразу напал на исповедь героя. Исповедь начиналась такими словами: «Я почувствовал в себе настоящую, подлинную силу и вошел в нее, не раздумывая». Автор не очень умело обращался с местоимениями, и это вселяло надежду на то, что речь шла, скажем, о входе в какую-нибудь комнату с тяжелой дверью, но – нет… Потому что после этого следовало: «Она застонала и задрожала всем своим юным телом…».

Когда у нас это все случилось? В первый день? В пятый? В шестнадцатый? Какая разница! История любви – это не перечень дней, а перечень событий, которые остались в памяти.

Выйдя тогда из квартиры Марины, я чувствовал себя мужчиной, и это было самое главное. Мне было хорошо и легко.

«Ты – классный», – сказала мне Марина.

И даже, если она врала, это не имело значения. Ничто не мешало мне ей поверить.

«В конце – концов, женщина может быть лекарством от простатита, – подумал я и почему-то обрадовался своему цинизму. – Тем более Марина знает, что Мейерхольд – это режиссер, и очень не любит современную драму».

А потом я пришел домой, поцеловал маму.

Она спросила:

– Есть хочешь?

Я честно ответил:

– Очень.

Она спросила:

– Как репетиция? Устал?

Я ответил, опять же, честно:

– Очень.

Она спросила:

– Когда премьера?

Я задумался над ответом, а мама полезла в холодильник за пельменями, и я понял, что в ответе она совершенно не нуждается.

Тогда я спросил:

– Где Сашка?

Мама ответила то, что, в общем, я и сам знал:

– В комнате за компьютером.

Я зашел к тебе и спросил:

– Как дела?

Ты ответил:

– Нормально.

Я спросил:

– Как в школе?

Ты ответил вопросом:

– Дневник показывать?

Твой ответ-вопрос я как бы не услышал, пошел в большую комнату, сел на диван, и, в ожидании вечных пельменей, то ли листал журнал, то ли глядел телевизор, что, в сущности, одно и тоже. Словно ничего не случилось (впрочем, разве что-то случилось?), продолжалась скучная семейная жизнь, без которой, тем не менее, я совершенно не представлял своего существования.

Ну, почему я совершенно не представлял своего существования без этой идиотской, скучной, а теперь еще и лживой (или не лживой?) жизни? Почему я совершенно не мог вообразить, что могу сказать маме: «Прости, я полюбил другую женщину – прощай»? Конечно, ни рядом со мной, ни в отдалении, короче говоря – нигде я не видел женщины, рядом с которой хотел бы стареть. Не с Мариной же, право слово? Но вот странно: я что угодно мог себе нафантазировать, какие угодно адюльтеры и страсти придумать, но стоило лишь начать представлять, что у меня нет этого дома, где ты и мама, а есть какой-то иной, совсем какой-то иной дом – так фантазия сразу застывала, замерзала как будто и отказывалась мне подчиняться. В сторону «иного дома» мне совсем не фантазировалось…

Неужели всё дело в привычке? Просто в привычке, – и всё? Вот Пушкин… Это такой поэт. Его даже ты, наверное, знаешь. Так вот он писал: «Привычка свыше нам дана, Замена счастию она». Понимаешь? Он не писал, что привычка – это есть счастье. Он, как всегда, точно заметил: *замена.*

Замена – подмена… Подмена – фальшь…

Разве я не вижу всю эту домашнюю фальшь? Вижу. И ты видишь наверняка. И мама. И эта фальшь держит меня? Ну, не бред ли? Бред. А чего ж держит?

В нашем театре один артист – он старше меня лет на десять – ушел от своей жены, пожилой актрисы, к девочке, которая только окончила театральный. Все отнеслись к этому совершено спокойно, практически без эмоций, лишь пожилые актрисы томно вздыхали и жаловались на несправедливость жизни. Понятно, что ни эти вздохи, ни эти жалобы никому интересны не были и никого не взбадривали. Но вот когда через полгода актер вернулся к жене, взбодрились все и с нескрываемым любопытством стали его расспрашивать: чего ж тебе там-то не

хватало, у молодой этой красавицы? Пожилой народный артист, хорошо поставленным голосом, отвечал: мол, и там – занудство, и там – занудство. Но старое – привычней, потому что ты к нему уже как-то приспособился, нашел, так сказать, подходы. А к новому еще искать надо, а зачем? Пожилые актрисы понимающе кивали друг другу и переставали вздыхать о несправедливости жизни.

И я тоже понимаю своего народного артиста – вечного красавца. Меняя жену, мужчина ищет новое. А находит старое. Новое старое, конечно, раздражает больше, чем старое старое. Это понятно. Казалось бы, понятно каждому… Только чего ж они, ровесники мои и даже учителя, все меняют и меняют, дураки, что ли?

x x x

…А потом мы курили, глядя в потолок, и не молчали. (Прости, сын, за тошнотворную фразу, но мне лень что-то придумывать, тем более, что, на самом деле, все было именно так).

Мы не молчали, потому что я задал вопрос…

Марина почти никогда ничего не спрашивала. Она просила: «Ну, расскажи мне что-нибудь, ты так интересно рассказываешь». Мне казалось, что она просит искренно, и я рассказывал, все больше распаляясь.

Видишь ли, твою маму совершенно перестали интересовать мои рассказы, а мне было так необходимо рассказывать женщине про то, что со мной происходит, и про те мысли, которые вдруг посещают мою голову, и чтобы женщина слушала не просто внимательно, а чтобы глаза ее разгорались всё больше и больше. Почему это так необходимо человеку, который прожил почти полвека, я не знаю, но необходимо очень…

Когда мы с Мариной уже окончательно разошлись, пообещав быть друзьями, она сказала мне – спокойно, без тени иронии:

– На моем месте может оказаться любая женщина, у которой получится с отрытыми глазами слушать твои рассказы и жарить тебе картошку так, как ты любишь. Все остальные ее качества значения не имеют, понимаешь? Потому что, в сущности, все, чего тебе не хватает в жизни: внимания, и чтобы картошку жарили не лишь бы как, а именно так, как ты любишь…

Я почему-то испугался этих слов и постарался поскорее забыть их. Именно поэтому они запомнились.

Но это случится потом, позже…

А пока мы лежали, курили, глядя, понятно, в потолок (не друг на друга же смотреть?), и я спросил, чтобы разбавить тишину, которая грозила стать совсем уж сентиментальной:

– А куда ты исчезла от служебного входа? Ну, тогда, во время нашей первой встречи. Ты что ведьма?

– Конечно, – сказала Марина и сощурила глаза, как ей, наверное, казалось, кокетливо.

Она старалась делать все так, чтобы мне понравилось. Юное создание, она меня не только любила, но еще и уважала, а это, по-моему, лишнее, во всяком случае, на первом этапе любви. Первый этап любви должен быть безоглядным, безбашенным. Ведь что такое начало любви? Безумство двух сумасшедших. А между сумасшедшими – какое уважение?

Ну вот. А в результате слова Марины были банальны, а реакции – предсказуемы.

Предсказуемые реакции я ненавижу профессионально: когда смотрю спектакль какого-нибудь своего коллеги и понимаю реакцию героя за несколько минут до того, как она произойдет, – мне становится скучно и портится настроение. И с женщинами – та же история, и вообще с людьми: от их предсказуемости становится скучно и портится настроение. С животными почему-то по-другому. Когда Кузьма абсолютно предсказуемо и банально бросался на меня, едва я переступал порог квартиры, – я почему-то радовался. Банальность животных радует, а женская предсказуемость раздражает: это, безусловно, свидетельствует о том, что к женщинам мы все-таки относимся серьезней. Не убежден, что лучше, но, во всяком случае, серьезней.

Чего я отвлекаюсь-то все время…

Итак, Марина ответила:

– Конечно.

В этом ответе много чего заключалось, но всё – не интересное: мол, конечно, я – ведьма, а какая женщина не ведьма, тем более, влюбленная, тем более, в такого мужчину, как ты… Вот сколько банальностей легко читалось в одном этом слове.

Если уж лег с женщиной в постель, то будь любезен играть с ней по одним правилам: и я еще сильнее прижал Марину, ненавидя себя за предсказуемость уже собственных реакций.

А потом спросил:

– А если серьезно?

«Если она скажет: а я серьезно – ведьма, и еще расхохочется при этом», – тогда шандец всему, – подумал я.

Но Марина ответила:

– А я никуда не исчезла, милый…

Слово «милый» второе по отвратительности обращение

женщины к мужчине. Золотая медаль у обращений звериных: «котёнок», «зайчонок»… Бронзу прочно удерживает неясно-ласкательное «мася».

– А я никуда не исчезла, милый, – Марина, как назло, еще и протянула это слово «ми-и-и-и-лый». – Я просто села на скамеечку, а ты смотрел поверх меня. Я заметила: мужчины совершенно не умеют искать глазами, если они не сумели разглядеть то, что ожидали, тут же впадают в истерику и не видят даже того, что находится у них перед носом. Ты просто посмотрел поверх меня и решил, что меня нет.

«Какая хорошая фраза! – подумал я. – Какая замечательная фраза про любовь: ты просто посмотрел поверх меня и решил, что меня нет».

Я все время пытался в словах Марины отыскать хоть что-нибудь своё, не тривиальное, пытался с тем усталым отчаянием, с каким медведь-шатун, некстати проснувшийся зимой, ищет себе пропитание: вот ведь понимает, что не найдет, а все равно ищет, надеясь на чудо…

Сейчас скажу тебе, сын, очень скучные слова, но, если ты – вдруг – сумел дочитать до этого места, ты и слова эти не пропусти, потому что они мне кажутся важными.

Так вот. Любое дело в жизни, любой поступок начинается с философии этого дела или поступка, другими словами: с ответа на вопрос: «Для чего?» И на вопрос этот ты сам себе должен отвечать абсолютно честно, потому что какой смысл ты в деле или поступке сам для себя определишь, такой результат и получишь. К слову сказать, это для меня является безусловным доказательством Бога: Господь всегда разрешает отыскать тот смысл, который человек сам для себя определяет. В этом еще и доброта Бога – Он не противоречит нашим подлинным желаниям.

Желание – невероятная движущая сила. И не потому, что, как утверждают безумцы: «хотеть – значит, мочь», а потому, что хотеть значит получить помощь Бога. Ты всегда сто раз подумай, прежде чем чего-нибудь захотеть, а то ведь оно сбудется. И не надейся, что сможешь скрыть свои подлинные желания – это невозможно.

Вот я хотел женщину как средство борьбы против простатита, и я ее получил. Я бы даже так сказал: я получил именно ее. Если я отношусь к тем мужчинам, для которых секс не цель отношений, а результат, значит, я должен признать, что для меня секс – это тест, он показывает, как в жизни все происходит на самом деле.

Ведь в жизни можно легко врать, прикидываться, улыбаться, когда совсем не весело, говорить разные красивые слова, думая при этом о том, что забыл заправить машину. Можно даже на

некоторое время поверить этим своим собственным словам и выводам. Можно придумать себе прекрасную, даже лирическую жизнь и делать вид, что ты именно ею и живешь. В жизни все можно.

Но когда ты попадаешь в постель, там врать не получается. В койке – что чувствуешь, то чувствуешь, а что не чувствуешь – не сыграешь. А если и получится пару-тройку раз прикинуться, то надоест очень быстро. Секс нагло – ведь никто его не просит – показывает тебе, каков ты есть на самом деле, и как ты к женщине своей относишься, и что между вами есть, а чего нет вовсе…

Мы опять лежали… там… курили… ее рука нежно… моя рука нежно… В общем, всё та же туфта всегдашняя: я как раз раздумывал, о чем бы таком лирическом спросить, чтобы пауза не затягивалась, и вдруг Марина собралась с духом и сама задала мне вопрос. От страха даже к стене отвернулась, но все-таки спросила:

– Скажи, а почему мы занимаемся этим только в темноте? Даже, когда ты приходишь ко мне днем, ты, прежде чем лечь ко мне, – зашториваешь окна… Тебе неприятно меня видеть?

Что я могу сказать, Марина? Что?! Что наслаждение (назовем это так) я получаю только, когда чувствую твое тело, но не вижу его? Что я могу с этим поделать, Марина, скажи? Как же мне быть, если меня раздражает каждая родинка на твоем теле? Я ненавижу женский целлюлит, но куски жира у тебя висят повсюду, Марина, даже в тех местах, которые, как я считал, не могут жиреть. Эти мягкие куски тела еще ничего себе на ощупь, особенно, если включить фантазию, но неприятны на вид! Это ужасно в твоем возрасте, Марина, что же будет дальше? Шрам на животе от аппендицита – отвратителен, с этим надо что-то делать, потому что мужчина должен любить женский живот; шрамы, Марина, должны украшать мужское лицо, но они не могут украшать женское тело. Твоя грудь прекрасна на ощупь, она в меру тверда и в меру податлива, но, Марина, эта жирная родинка посередине… Лучше трогать, чем смотреть… И не надо, Марина, спрашивать меня про то, почему мы не ищем какие-то там новые позы, мы не в балете, Марина, и не выступаем с танцами на льду по Первому каналу, а для борьбы с простатитом – это глупое излишество. И вообще, Марина, ты слишком податлива и хороша; ты, Марина, парфюмерная лавка, в которую можно зайти на минутку, но в которой совершенно невозможно находиться долго. Ты хорошо слушаешь, Марина, но иногда и мне тоже хочется что-нибудь услышать от тебя, Марина, и, желательно, не банальное, а что-нибудь такое, что возбудит мысль. Да, Марина, у мужчин надо возбуждать не только то, что

возбуждается само, но еще и мысль, потому что подлинная сексуальность – она в мозгу, а вовсе не в других частях тела, как кажется тебе… Ради тебя, Марина, увы, нельзя ставить «Гамлета», ты вообще не та женщина, ради которой можно что-то делать… Женщину, Марина, хочется удивлять, а ты, кажется, удивлена с рождения… Пойми это, Марина, и успокойся, и не задавай лишних вопросов ни себе, ни мне. Как говорится: задавать вопросы, Марина, это не твое… Популярная в дни моей молодости группа пела такие слова: «Ты – моя женщина, я – твой мужчина. Если надо причину, то это – причина…» И не надо искать иных причин, Марина, не надо… И вообще, не призвать ли мне тебя к смирению, а именно: к тому, чтобы с благодарностью принимать то, что есть? Да, я не сахар, Марина, но и ты – не чай, чтобы полностью в тебе раствориться… Так что успокойся, Марина, и ещё раз прошу: не задавай лишних вопросов.

Я не сказал всего этого, конечно. Разумеется, я всего этого не произнес. Я чего-то такое тупо-лирическое ляпнул, а это все в несказанном виде упало куда-то внутрь меня, где и затаилось злым раздражением.

И мы опять лежали, опять курили-молчали и говорили о бессмысленном, перекидывались пинг-понгом какими-то незначащими словами о любви, и вдруг зазвонил мобильник.

Ирина.

– Да, – сказал я.

– Привет, – сказала жена. – А ведь у тебя в театре сегодня нет репетиций. И вчера их у тебя не было. Ты что, дурачок, не понимаешь, что мне это очень легко проверить? Вроде, взрослый мужик, мог бы как-нибудь научиться врать. А то бы и честно сказал: мол, завел себе бабу по причине того, что ты меня не возбуждаешь, а я боюсь простатита. Кстати, дорогой, ученые давно доказали, что возникновение простатита совершенно не зависит от количества половых актов. Пока!

«Как же Ирка меня хорошо знает», – почти с нежностью подумал я.

Твоя мама говорила совершенно спокойно: и тени той истерики, которая нам с тобой столь хорошо известна, не было в ее словах.

– Жена? Неприятности? – казалось, Марина готова мне искренно сострадать.

– Да нет, – вяло ответил я. – У Сашки там что-то случилось.

– У детей постоянно что-то случается, – Марина, как ей казалось, кокетливо, поцеловала меня в нос. – Только ты, милый, совершенно не умеешь врать.

«И эта туда же, – подумал я. – Марина, ты – удивительна.

Даже твое сочувствие – банально».

– Тебе надо домой? – Марина села на кровать, и я непроизвольно отвернулся, чтобы не разглядывать тонкий жирок на ее спине. – Беги! – Марина меня уважала и не устраивала сцен ревности.

Когда я пришел домой, Ирина уже спала. Или делала вид, что спит.

Удивительно, как быстро я привык к тому, что меня никто не встречает! А раньше выскакивал Кузьма, подходила Ирина со своим, конечно, формальным, но все-таки поцелуем, и ты тоже появлялся из комнаты, опять же с формальным, но все-таки приветствием: «Привет, пап».

«Значит, «выяснялки» будут завтра», – подумал я, расстелил свой матрац и уснул абсолютно спокойно – как мужик после секса, а вовсе не как человек, у которого не чиста совесть.

Почему я закончил репетицию раньше? Почему я так хотел придти домой не поздно? Почему я не брал телефон, видя, что звонит Марина? Почему я вел себя, словно подросток, который несет домой дневник с двойкой? Короче говоря: почему я боялся? Отчего нервничал я – взрослый, состоявшийся, не бедный, и, как подтверждает жизнь, вполне себе здоровый мужик? Что я боялся потерять? Что? Квартиру, из которой давно исчезло то, что, собственно, и превращает четыре стены в настоящий дом, – уют? Жену, которая на ползущего по кухонному полу таракана обращает внимания больше, чем на меня? Тебя? Может быть, действительно, тебя?..

Ты, сын, единственное, что я по-настоящему люблю в нашем доме. Я могу на тебя кричать, могу дать тебе подзатыльник, но, когда ты входишь в комнату – у меня сердце сжимается от нежности. Почему-то мне кажется, что я воспитываю тебя, когда мы сидим вместе у телевизора и смотрим футбол. Или когда ты задаешь какой-нибудь дурацкий вопрос, а я не смеюсь над ним, но отвечаю тебе, изо всех сил стараясь выглядеть серьезным. Помнишь, ты спросил меня, как целоваться с девочкой, и я подробно объяснял тебе? Оказалось, нет в мире ничего более отвратительного, чем объяснять технику поцелуя, но я понимал: если в чем-то ошибусь, то ты осрамишься, и потому очень старался. И когда мы просто разговариваем, я думаю (или придумываю?), что воспитываю тебя. И мне почему-то кажется, что если мы станем жить в разных домах, я буду воспитывать тебя хуже.

Все это так. Но главное – не в этом. Если и боялся я какой-то потери, то лишь потери самого себя. И это не красивые слова, поверь… Мне казалось, – а точнее сказать: чувствовалось, что

если мама выгонит меня из дома (и я, разумеется, уйду), то без мамы, без тебя, без нашей квартиры я превращусь в какого-то совсем другого человека. Возможно, этот другой будет лучше меня сегодняшнего, возможно – хуже, главное: он будет иной. А если тебе под полтинник, меняться очень страшно, особенно, когда неясно: а меняться-то ради чего? Ради Марины? Смешно… Ради другой такой же Марины – Лены – Кати? Ради третьей? Глупости, глупости… Ужасной, нервной, холодной жизнью в своем доме я дорожил, потому что это была моя жизнь, а какой может быть жизнь иная, я не ведал, а потому боялся ее, как любой человек боится неведомого.

Я ехал домой не поздно, словно кому-то что-то этим доказывая, я понимал, что еду «на выяснялки», и боялся: и самих «выяснялок», и того, что за ними может последовать. Из-за этого страха я был отвратителен сам себе, но ничего не мог поделать.

Я открыл дверь. Вошел на кухню.

– Привет, – сказала Ирина, подошла ко мне и поцеловала в щеку. – Есть будешь?

– Очень, – почему-то ответил я. И добавил. – Очень буду.

Потом она спросила:

– Как идут репетиции Нушича?

Я не ответил.

Она переспросила, как бы показывая свою заинтересованность.

Я отвечал что-то не важное, не интересное, а сам думал: «Сейчас Сашка ляжет спать, и начнется».

Но мама легла раньше тебя.

На следующий день повторилось то же самое.

И на следующий.

Я, словно боясь чего-то, приходил домой вовремя. Я покупал тебе мороженое и еще какую-то идиотскую колбасу, и пельмени зачем-то, и картошку – в общем, разную ерунду, которая всегда может пригодиться.

Я как будто доказывал твоей маме, что я – примерный муж, хотя она не просила никаких доказательств.

Мама встречала меня с улыбкой, целовала в щеку, разбирала сумки, и мы ужинали втроем, и вели какие-то пустые разговоры, мы с тобой периодически грызлись, потом мирились, короче говоря, шла нормальная, семейная, по-своему прекрасная своей занудливостью жизнь, которая меня невероятно бесила: я совершенно не понимал, что с ней делать. Как быть с «выяснялками», со скандалами всякими я очень хорошо понимал, а что делать с нормальной жизнью – не знал.

Первым, конечно, не выдержал я.

У нас был прогон второго акта. Мне показалось, что все очень скучно, неувлекательно, вяло. Я наорал на артистов. Наорал грубо, глупо, скучно, и, главное, бесперспективно. Артисты сидели, потупившись, не спорили, не возражали, и это было совсем противно.

Я пришел домой, выпил пол стакана водки, и, когда мама сказала: «Всем – добрых снов», прошел в ее (еще недавно нашу) спальню, сел на кровать и спросил:

– Ты не хочешь со мной поговорить?

– Встань с кровати, – сказала Ира совершенно спокойно. – Ты же знаешь: я не люблю, когда в тех же брюках, что ходят по улице, садятся на кровать.

Я встал.

– О чем? – спросила Ира.

– На пуфике не спят? – буркнул я, как мне показалось – зло и иронично, и рухнул на пуфик. – Ты знаешь, о чем.

Ира подошла ко мне близко-близко. Она смотрела на меня сверху вниз, и от этого я чувствовал себя виноватым.

Я опустил голову.

Ира молчала и улыбалась. Я молчал, хмурился, смотрел в пол. Сколько это длилось, я понятия не имею. Лично мне показалось, что прошла вечность.

Ира нагнулась, поцеловала меня в затылок, – ее длинные, рыжие волосы забыто щекотали мне щеки.

– Хороший мой, – мне казалось, что она улыбается, хотя я этого и не мог видеть. – Хороший мой, меня совершенно не интересуют твои бабы. Веришь?

Я зачем-то подумал: «Хороший мой» – это ведь гораздо лучше, чем «милый», «зайчонок» или «мася».

– Хороший мой, – словно специально повторила Ира. – Мы с тобой близкие, чужие люди. Так бывает. Близкие и чужие. Ты совсем не понимаешь меня, а мне вовсе не охота понимать тебя. Но между нами есть что-то такое, что непременно связывает людей, если они живут так долго…

– Да-да, – радостно сказал я, не поднимая головы. – Я как раз недавно думал об этом.

Ирина потрепала меня по голове:

– Видишь, как хорошо: мы всё ещё думаем с тобой об одном и том же.

И тогда я спросил, сам не зная зачем:

– А ты еще хочешь со мной стареть?

Ирина ответила, не меняя интонации:

– А вот это вопрос подлый, и ты это прекрасно понимаешь. Кстати, хороший мой, ты, наверное, думаешь, что старость от нас

далеко? Не хочется тебя огорчать, но, к сожалению, она уже наступает. Ты что, надеешься, что здесь будет, как в театре: «картина последняя – старость», и актеры начинают играть стариков? Нет, мой хороший. Старость наступает постепенно, как… – Ирина задумалась на мгновение. – Как… Как утренний туман, она наступает. Наступает, наступает, и вот ты уже – другой, старый, затуманенный.

Ирина расхохоталась.

Я обнял ее за ноги. Она отстранилась.

– Близкие и чужие, – повторила она, продолжая смеяться. – Правда, я здорово придумала: близкие и чужие?

Я вышел из ее спальни, выпил еще водки, почистил зубы, выключил везде свет, пошел в кабинет.

«Моя жизнь ее совершенно не волнует, моя жизнь ее совершенно не волнует, – повторял я, как школьник, который учит наизусть стихотворение. – Моя жизнь ее совершенно не волнует».

Я посидел за письменным столом, зачем-то для самого себя делая вид, будто готовлюсь к репетиции. Расстелил матрац. Разделся, аккуратно развесил вещи в шкаф.

Лег. Погасил ночник.

Я не испытывал никакого облегчения из-за того, что Ирина не будет выяснять со мной отношения, гораздо больше, признаюсь, меня поразило, что ей абсолютно не интересна моя жизнь. Как такое может быть? Я вдруг стал не интересен своей жене? Со всеми моими бредовыми идеями, потрясающими планами, увлекательными и смешными рассказами, со всей нашей общей жизнью, наконец? Я – человек, который вытащил ее из болезни, от которого она родила сына, вместе с которым построила дом, – стал ей абсолютно безразличен? Как такое могло произойти? Почему она смогла так быстро вычеркнуть меня из своей жизни? Неужели я такой незначительный, даже для своей жены, человек, что меня можно так легко выкинуть и из жизни, и из души?

А… Наверное, у нее у самой роман… Почему нет? Женщин, конечно, не страшит простатит, но в сорок лет невозможно прожить без секса. Наверняка у нее есть мужик. Или женщина? Почему нет? Все женщины – потенциальные лесбиянки… Я стал думать, какой вариант меня раздражает меньше: если у жены – любовник или если у неё – любовница? Как ни странно, эти размышления меня успокоили. Предположение, в котором я был практически убежден, делало мир более понятным, и, значит, не таким противным.

И тут возникла новая догадка: все вообще очень просто: у нее – климакс. Почему нет? В сорок лет – рано? Кто сказал? А, может

быть, ее болезнь спровоцировала ранний климакс? Вполне, кстати, возможный вариант.

Я уснул, абсолютно уверенный в том, что в ближайшие дни мы разведемся, и волновало меня только одно: как рассказать о нашем разводе тебе, моему сыну.

Но на следующий день ничего не произошло. И через день тоже. Мы продолжали играть в семью. Поначалу я ещё спрашивал самого себя: зачем? Но потом надоело задавать вопрос, на который нет ответа.

Приближалась премьера, и работа, как водится, спасала меня от размышлений, раздирающих душу. Знаешь, что такое размышления, раздирающие душу? Эти те мысли, которые не ведут ни к каким решениям. Просто дерут твою душу мысли бессмысленные и беспощадные, как русский бунт, и всё.

Премьера «ОБЭЖ» прошла, на удивление, успешно. Народ хохотал, радовался, хлопал. Мой Василий долго жал руку и обещал гастроли в Питере, Прибалтике и еще Бог знает где.

Ирина пришла на премьеру в потрясающем, неведомом мне платье. Она сказала мне: «Молодец», а на банкете отменно играла роль любящей жены, которая гордится своим мужем.

От всего этого мне было почему-то невыносимо грустно, сам даже не знаю почему.

Дома я спросил Ирину:

– Ну, и как тебе, если серьезно?

Мне очень хотелось поговорить с ней про премьеру. Не знаю: привычка это или не привычка, просто хотелось очень.

Но Ирина только улыбнулась:

– Я же сказала: «Молодец». Доброй ночи!

И ушла в спальню.

«А если сейчас взять и ворваться в ее спальню», – вздохнул я и пошел в кабинет на свой матрац.

Марина пришла на второй спектакль, который, как водится, был хуже первого: актеры успокоились, драйв не рождался… Однако, зритель хлопал все равно, мне кричали: «Браво!» Я скромно кланялся, выводил артистов, в общем, всё было вполне себе по-премьерному.

На следующий день я приехал к Марине.

На кухне меня ждал празднично накрытый стол. Причем накрыт он был не лишь бы как и чем, а очень вкусной едой. Я с наслаждением ел, а Марина с не меньшим удовольствием смотрела, как я поедаю ее стряпню. Она бесконечно говорила, что я – гений, что я сам не знаю, какой шедевр создал, и что в наше злое время столь необходимы такие добрые, легкие спектакли, на которых люди могут отдохнуть от этого времени и даже немного

возвыситься душой.

Я смотрел на нее и думал: «Ну, почему же я не люблю тебя, такую хорошую? Почему же мне так скучно с тобой? Почему все твои слова меня не радуют, а раздражают? Что же мне еще, придурку, надо? Ну, что я за сволочь?»

Однако, я честно старался улыбаться, изображать страсть и между блюдами успевал целовать Марину в какие-то неожиданные места.

Потом мы пошли в спальню, и я зашторил окно. Пока я его зашторивал, Марина успела раздеться. Когда я повернулся к ней, она лежала, раскинув руки, и улыбалась, как ей, наверное, казалось, призывно.

– Ну, иди ко мне, гений, – зачем-то прошептала она. – Иди, милый. Представляешь, ты первый гений, с которым я делю ложе.

Я быстро разделся, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сказать какую-нибудь гадость, закрыл глаза и рухнул в постель, по-моему, даже придавив какую-то ее выступающую часть тела…

…Я уже собрался уходить, когда Марина вдруг сказала:

– Когда мы расстанемся, я ведь могу рассчитывать на твою дружбу?

– А почему… – начал я.

Но Марина не дала договорить:

– Милый, я все чувствую. Я, конечно, не гениальная, как ты, но я все чувствую. Если захочешь, ты можешь уйти от меня в любой момент. Правда. Никаких обязательств. Ты очень нерешительный, будешь мучиться – не стоит. Знаешь, человеку бывает сложней поверить в то, что его не любят, чем в то, что его любят.

Это была интересная мысль, мне даже понравилась.

Что надо говорить, я не знал и мямлил:

– Нет, Марин… Почему? И вообще… А дружить, если…

Но она снова не позволила мне договорить. Тут-то она и сказала то, что я изо всех сил стараюсь забыть, но не могу.

– Милый, ты понимаешь, что на моем месте может быть любая женщина, которая сможет с открытыми глазами слушать твои рассказы и жарить тебе картошку так, как ты любишь. Любая, понимаешь? Потому что, в сущности, все, чего тебе не хватает в жизни: внимания, и чтобы картошку жарили не лишь бы как, а именно так, как ты любишь…

Я решил, что больше не приду к Марине никогда.

x x x

Выяснялось, что я совершенно не умею расставаться с женщинами. Вообще. Как-то я предпочитаю, чтобы они уходили от меня сами, и сами говорили какие-то прощальные слова. Нет, послать я, конечно, могу. Истерику там устроить. Запросто. Но вот красиво уйти, уйти так, чтобы остаться друзьями, – не получается. Я вообще не очень понимаю: как можно остаться друзьями с той, которую любил? Вот женщина была для тебя миром, загораживала мир, заменяла… А потом остаться друзьями?

Не понимаю…

Когда в театре я увидел эту вертикальную спину, я почему-то сразу подумал, что расстаться с ней будет невозможно.

Или я это уже сейчас придумал?

Времена так путаются в голове: прошлое, настоящее, и будущее все время забегает. Старость, наверное…

А что, сынок, старость – это, может, когда времена путаются в голове. Как думаешь, я прав?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Если я, почти пятидесятилетний, и почти (так, во всяком случае, мне кажется) здоровый мужик, у которого есть работа, относительное признание и еще более относительная семья, есть, наконец, сын, которого я люблю до умопомрачения, хотя всячески стараюсь этого не показывать, отчего подчас бываю излишне груб, и сам же от этого злюсь… Так вот. Если я, такой, как я есть сегодня, сейчас, в эту самую минуту, спрошу себя самого: «А что такое, в сущности, моя жизнь?» – что я сам себе смогу ответить? Наедине с самим собой, когда никого рядом: только ты сам, Небо и какая-то неясного происхождения стеснительность внутри, которая не позволяет врать – что?

Можно, конечно, решить, что у меня – кризис среднего возраста… Почему нет? В юности все проблемы можно списать на то, что ты слишком юн; не успеешь оглянуться, а уже – здрасьте! – кризис среднего возраста; потом – раз! – и уже всё можно списывать на старческий маразм. Когда жить – вообще неясно.

Неясно вообще: кто измерял возраст, кто ведает, когда у жизни этого конкретного человека начало, а когда кризис именно среднего возраста? Вот если б можно было эдак поглядеть на свою жизнь сразу, целиком ее окинуть – тогда, конечно, тогда понятно, где именно середина… Но на такое только Бог способен, а Он телеграммы: «Дорогой, ты дошел до середины жизни, у тебя – кризис», – не посылает чего-то.

Недавно меня пригласили на теле-шоу под девизом: «Для тех, кому совсем нечего делать», что-то такое рассказывать про театр и про искусство. Ладно, поехал. А вез меня пожилой таксист-армянин, переживший, как выяснилось, землетрясение в Спитаке. Колоритный такой человек, седобородый мудрец. Так вот он сказал мне: «Господи, если б я знал, что доживу до моих преклонных, разве бы я так жил? Нет, я бы жил совсем иначе, я бы жизнь на потом откладывал. Маялся бы, маялся, а лучшее откладывал на десерт. Говорил бы: «Не надо мне пока. Я пока говно свое похлебаю, зато буду уверен, что потом покушаю десерт. Вот было бы хорошо! Но – невозможное дело!»

Итак. Если честно, не увиливая, не философствуя, не разукрашивая… Конкретно, как в милиции – ответьте, будьте любезны, для протокола: «Что такое есть ваша жизнь?»

Ты, мама, театр, друзья, женщины – все это вместе, что ли, и есть моя единственная и неповторимая жизнь? Если жизнь – дорога, то, что из всего этого – путь? Если жизнь – река, то какие у нее берега, и к ним я плыву или от них? Стержень имеется

какой-нибудь во всем этом? Или все мы так нынче существуем, что в жизни лишь объем важен, масса, количество, а на что оно все нанизано – фигня фигнёвская?

У зверей моих любимых существует ведь основа жизни: самое главное, самое необходимое? Конечно! Пожрать! Бог его знает, о чем страдает по ночам, скажем, лев, или почему волк воет на луну – тоже, наверное, переживает за что-то своё. Но при этом стержень осознает: жрать! Наверняка среди величественных жирафов есть такие, кто ненавидит свой рост и даже страдает из-за него, плачет по ночам, что никогда ему не быть маленьким, словно мышка, однако, все равно: тяни шею, ешь листочки, насыщайся – это главное.

Так жить не только проще, но и разумнее. А у меня – что? Может быть, главное в моей жизни: стержень, дорога, берега реки – безлюбье? То, что человек может жить любовью – понятно, про это миллионы книг написаны, а вот может ли он жить безлюбьем? Отсутствием любви, бесконечными, робкими, как бы скрытыми от себя самого попытками ее найти, может быть, и определяется моя жизнь? Мужчина, который *не исключает*, это и есть мужчина, живущий безлюбьем. Не так разве?

«Живущие безлюбьем» я бы так и назвал свой новый спектакль по Чехову, только ненавижу, когда пьесы переименовывают. Если назвал Антон Павлович свою пьесу «Вишневый сад», – значит, так тому и быть, хотя название и не кассовое. «Живущие безлюбьем» или «Вишневый ад» было бы, конечно, для афиши лучше, но он так свои пьесы не называл.

Да, я снова решил ставить Чехова, да еще и заезженный – переезженный «Вишневый сад». Вася, как водится, сначала был против, но потом я ему рассказал, как там и что будет, да еще и пообещал дилогию по Антону Павловичу выдвинуть на какую-нибудь премию. Вася и согласился. Смешная у меня игра с моим директором происходит: и правила одни и те же, и результат предсказуем… Однако не будь ее, и мне было бы скучно, и ему. Зачем люди играют все время? От скуки, не иначе.

Герои Чехова тоже играют все время, потому что живут скучно. А какой может быть интерес, азарт, страсть в атмосфере безлюбья? Разве живет тот, кто никого не любит и кому любить некого? Не живет он, только вид делает. Атмосфера безлюбья – это кладбище человеческих душ. Ведь если нет любви – зачем душа? Ни за чем. Незачем, то есть. Не нужна.

Герои «Вишневого сада» – люди без души. Да-да… Они душой ни на что не откликаются, потому что играют все время. У нас ведь, как кто про Чехова вспомнит, сразу все вокруг начинают трындеть про духовность, да про духовность. Забавно… А Антон

Палыч, между прочим, обозначил жанр «Сада» – «комедия». Комедия про духовность – это вообще может быть?

Да не просто комедия, а комедия дель арте, в которой действуют не живые люди, а маски: маска страдающей русской помещицы, маска ее брата, маска неудачника… По сути, только два живых персонажа в пьесе: Лопахин и Фирс. Один потому что – слишком деятелен, чтобы постоянно играть. Другой – слишком стар, чтобы продолжать игру.

…Я понимаю, сын, что тебе, наверное, скучно это все читать. Где ты и где Чехов? Но если ты все-таки дошел до этого места, ты можешь легко все, что про «Вишневый сад» написано – пропустить. Совсем скоро я расскажу тебе про встречу с той, с кого, собственно, и начался Чехов… Потому что «ОБЭЖ» какой-нибудь – он рождается просто так, ни с чего. А чтобы Чехов… Тут должна появиться женщина, которую хочется удивлять.

Зачем я фиксирую все эти мысли? Зачем я переписываю свою первую речь перед актерами? Гордыня? Стараюсь для потомков? Всяко может быть. И вообще, почему я должен перед кем-то отчитываться? Пишу, потому что нравится – и всё!

А если даже и для будущего стараюсь – так что? Разве нельзя? Ты, сынок, покажи мне режиссера, поэта, актера, писателя, художника – короче говоря, творца – кого бы вовсе не волновало, как его будут вспоминать. Эти творцы, даже самые бездарные, они ведь не просто так орут, они в будущее голосят, не могут без этого. Как жирафу не прожить без листочков, а волку – без мяса, так и они: умрут без этого крика, направленного в будущее. И если ты встретишь творца, которого не волнует, как его будут вспоминать потомки, – значит, перед тобой лжец, ты держись от него подальше.

Я так хотел, чтобы Лиза была на первой репетиции. Потому что я знал, что заведусь, буду эмоционален и смогу произвести впечатление чертовски талантливого человека.

Но Лиза, как водится, уехала на гастроли…

На первой репетиции я просто читал актерам цитаты. Потому что ключ к «Саду» в тех словах, которые говорят герои. Не в поступках, не в отношениях, а вот именно – в словах. Так нелепо, неискренне, позерски, наконец, просто глупо люди не разговаривают. Нам почему-то кажется, что в то время именно так и разговаривали, но «то время» – это начало XX века. Герои Льва Толстого, Горького, да и более раннего Островского так не говорят. Значит, Чехов специально придумывал героям противоестественную речь, – даже удивительно, как этого можно не замечать!

(Господи, сынок, как мне обидно, что ты не любишь читать

пьесы! Каждый читатель пьесы как бы ставит ее в своей голове. Это ведь так интересно… Ну, да ладно.)

Итак, на первой репетиции я читал артистам цитаты, чтобы они убедились, как манерно, без тени открытости говорят герои.

Вот Раневская появляется в доме: «Детская, милая моя, прекрасная комната… Я тут спала, когда была маленькой… И теперь я как маленькая…»

Вот сестра вспоминает о гибели брата: «Шесть лет тому назад умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик». Это сестра – о гибели брата?!

Вот Гаев: «Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи».

Вот Дуняша, простая русская девушка: «Я стала тревожная, вся беспокоюсь… Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь… Страшно так…» Это текст дворовой девки?!

Вот Прохожий, проходя, произносит такие слова: «Чувствительно вам благодарен. Погода превосходная… Брат мой, страдающий брат… выдь на Волгу, чей стон… Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать…»

Вот Трофимов: «Это ужасно! Что она говорит? Это ужасно… Не могу, я уйду… Между нами все кончено».

Епиходов: «Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие…»

Продан «Вишневый сад», и Аня успокаивает маму: «Мы посадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!..»

Они что, с ума там все посходили? Дочь не в состоянии отыскать нормальные, человеческие слова, чтобы успокоить маму? Что за странное сборище экзальтированных дам и господ? Почему они все разговаривают так, словно играют? Почему они так боятся быть искренними? Почему они за красивыми словами скрывают истинные проявления своей души?

Разве можно ставить «Вишневый сад», делая вид, что не понимаешь: нормальные, живые люди так говорить не могут?

Чехов доводит дело до абсурда в знаменитом монологе Гаева: «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв… » И так далее.

Как же можно это играть по законам русского

психологического театра? Люди, существующие в безлюбье, люди, которые боятся и собственных, и чужих душевных порывов – существуют в театре абсурда, который сами же и создали.

Я одел героев в костюмы комедии дель арте. И загримировал их соответствующим образом. Среди них было два нормально одетых и нормально разговаривающих человека: Лопахин и Фирс. Лопахина эта бесконечная игра бесит, Фирс же от нее просто устал. И когда все уедут, забыв про старого слугу, Фирс удовлетворенно – это важно: удовлетворенно, а не печально – скажет: «Про меня забыли… Ничего, я тут посижу…» Потом улыбнется себе: «Жизнь-то прошла, словно и не жил». И ляжет спать, удовлетворенный тем, что играть больше не надо.

Где происходит действие «Вишневого сада»? Оно происходит за кулисами жизни. За кулисами оно происходит! Вот этот странный мир закулисья жизни нам с художником и надо выстроить. И не будет никакой русской усадьбы, а будет странный, ускользающий, неясный мир театра, где не столько живут – сколько играют персонажи Чехова.

В том мире, где нет любви, где мать и сестра даже гибель собственного сына и брата переживают красиво, где дочь не в состоянии найти человеческих слов, дабы успокоить свою мать, – нет жизни. Есть бесконечная, не столько красивая, сколько разукрашенная, и от того еще более страшная игра.

Нам все кажется, что Чехов любит своих героев. Да не любит он их, повторяю я в сотый раз! Не любит! Он смеется над ними, подтрунивает. Люди, которые не проживают свою жизнь, а играют ее, стараясь перед самими собой и перед другими выглядеть «покрасившее» – достойны лишь того, чтобы над ними посмеялись.

Почему Палыч наш всегда современен? Потому что мы похожи на его героев? Да, конечно. Только нам приятно считать, будто мы близки чеховским героям своей глубиной и духовностью, хотя на самом деле мы похожи на них своим безлюбьем, неумением подлинно проживать свою жизнь и идущим отсюда стремлением ее играть. Нам, так же, как героям Антона Павловича, важно не то, какими мы выглядим перед Богом, а то, какими мы выглядим друг перед другом.

И еще, знаешь, что я тебе скажу? Если бы Антон Павлович писал бы ровно такие же пьесы, а выглядел бы, скажем, как современный бритый качок из фитнесс-зала – мы эти пьесы совсем по-иному на сцену переносили бы. Мы ведь не текст Чехова ставим, мы бесконечно ставим его фотографию в пенсне – фотографию русского интеллигента. Чехов, без сомнения, гений, только он очень ироничный, жесткий и недобрый писатель. К

тому же, как я уже говорил, физически довольно крепкий мужик.

x x x

Я лежал на своем матраце и думал о том, что надо бы купить кушетку. В конце концов, я известный режиссер, народный артист, мне почти пятьдесят, я руковожу театром, средняя посещаемость которого одна из самых больших в нашем городе, – и я должен спать на некотором расстоянии от пола. Когда человек умирает, его душа возносится в небо, наверное, поэтому люди решили спать, пусть хоть и на маленькой, но все-таки высоте, чтобы душа постепенно привыкала…

Я смотрел в окно. В окне не было видно ничего, что могло навеять хоть что-нибудь: ни грустного дождя, ни таинственного снега, ни романтических звезд – совсем ничего не было видно в окне. Снизу, с пола, даже дома не светились: только темная, плотная пустота ночи, которая не расширяла реальность, а, наоборот, стискивала ее, уменьшала. Я хотел казаться самому себе маленьким и несчастным, и у меня это здорово получалось, причем получалось вполне себе душевно и радостно.

Я вспомнил, как страдал, когда выяснялось, что я совершенно не интересен твоей маме: мне казалось тогда, что мир рухнул, что я потерял почву, и всякие еще банальности мне мерещились, которые именно из-за своей обыденности и неоригинальности мучили еще больше. Тогда я был несчастен, как говорит ваше поколение, «по жизни», а сейчас – по роли: я печалился, чтобы не испугать своё счастье, которое, понятно, рано или поздно все равно убежит, но зачем же его пугать?

Тогда у меня не было Лизы. А теперь была. Точнее, была настолько, насколько она вообще может быть в чьей-то жизни.

Я посмотрел на часы: два часа ночи. Завтра – репетиция. Актеры, понятно, не сразу приняли моего Чехова, но постепенно свыклись. Особенно после того, как я снял с роли актрису, назначенную на Раневскую. Во время репетиции она двадцать один раз произнесла слово «духовность». Я специально считал. Потом сказал: «Очко. Двадцать один. Поздравляю. Вы выиграли. Приз – ваше свободное время». Я закончил репетицию, выслушал стенания актрисы, назначил приказом другую, которая слово «духовность» не произносила вовсе, ибо не знала его значения. После этого работа пошла куда быстрее.

Завтра репетиция. Я должен быть бодр и энергичен. Мне так говорили учителя: режиссер – это всегда бодрый и энергичный человек, в лексиконе которого нет словосочетания: «не знаю».

«Ответить артистам на любой их вопрос: «Не знаю», – это все равно, что дрессировщику сунуть голову в пасть тигра и приказать: «Грызи!», – говорил один из моих учителей.

Я должен быть бодр, энергичен и – в постоянной готовности ответить без раздражения и умно на любую актерскую глупость. А я лежу тут на матраце и с удовольствием страдаю вместо того, чтобы спать.

Тут пикнул телефон: смска! В два часа ночи она могла прийти только от Лизы. Я схватил телефон. Свет экрана ослепил в темноте.

«Я очень тебя люблю. Не злись. Ты мне нужен», – прочел я ослепшими глазами и понял, что завтра я буду таким, каким должен быть режиссер на репетиции.

Мы опять поссорились. Когда это было? Сегодня? Вчера? Какая разница?.. Я не ждал никаких смсок, грустил, и вот…

Повод для ссоры был дурацкий. Лиза, как водится, поехала на гастроли. Она позвонила мне, а вокруг нее перекатывали камни слов отвратительные мужские голоса… Так всегда бывало. Всегда. Иногда у меня получалось не обращать на это внимание, а тут я психанул. Знаешь, что я тебе скажу, сын? Люди слишком часто психуют из-за того, что мир какой-то не совершенный, нелепо как-то он устроен. Не, ну, правда: я тут, на своих репетициях, а она – там, разгребает камни мужских голосов… Красивая, тонкая, талантливая, умеющая восхищать, со своей короткой черной стрижкой и огромными умными глазами… Умные глаза – это самое сексуальное, что может быть у женщины, во всяком случае, с точки зрения седого мужчины.

И вот, она – там, а я – тут. Ну, разве можно спокойно пережить эдакую нелепость мира? Только не надо мне, пожалуйста, говорить: мол, что ж поделать?.. тут же ничего не изменишь, мол… не хочешь же ты погубить ее карьеру, мол?.. При чем тут всё это? Она там, а я – тут. Как же можно не психануть?

Глаза привыкли к свету телефона. «Я очень тебя люблю. Не злись. Ты мне нужен», – еще раз прочел я. Бог мой, влюбленный – он еще хуже ребенка: ребенок верит все-таки не всем словам, а влюбленный – всем, которым хочет верить.

Я прочитал смску в третий раз, написал в ответ какую-то романтическую ерунду, положил телефон и спокойно уснул – как человек, у которого в жизни все в порядке.

В жизни мужчины, который *не исключает,* обязательно появится женщина. Все-таки, наверное, безлюбье – противоестественное состояние человека, и человек, как может, старается его изменить…

Она подошла первой. На ней было надето узкое красное платье, в руке – стакан апельсинового сока. Сочетание красного с желтым выглядело отвратительно. Но надо всем этим «светофором» светились ироничным любопытством умные черные глаза. Стоило их увидеть, и все остальное переставало иметь значение.

Она сказала:

– Здравствуйте. Как ваши дела? Вы не скучаете?

Она говорила так, будто мы знакомы. И я подумал: а может, мы, действительно, знакомы? С кем только не перезнакомишься за свою жизнь!

Чем она останавливала? На что стоило посмотреть прежде, чем опустить взгляд на вполне себе красивую грудь? Черные глаза? Конечно… Но было ещё одно… Как же его назвать? Как описать? От ее взгляда, от всей ее фигуры, от поворота головы, от взмаха рук шла какая-то испуганная нервность, которая, как правило, и отличает талантливых женщин…

Я ненавижу тусовки, потому что совершенно не знаю, что на них делать, и не понимаю, как себя вести. У меня складывается ощущение, что на сборищах этих я не сам себя веду, а меня ведет некая неприятная, но мощная сила. Раньше, когда мы ходили вместе с мамой, все получалось как-то проще: мы с ней тихонечко всех обсуждали, получалось даже занятно и смешно… Но с тех пор, как она стала вести абсолютно свою, подчеркнуто самостоятельную жизнь, ходить на эти тусовки стало совсем невыносимо.

Поэтому в последнее время я захаживал лишь туда, куда надо было зайти обязательно. Это сборище было как раз из таких. Один раз в год мэр собирал деятелей культуры, дабы сообщить: как он нас всех любит; как нуждается город в нас и как жаль, что он не может удовлетворить все наши материальные запросы, но будет, разумеется, очень стараться. Не прийти сюда означало бросить начальству некий неясный вызов, а вызовы я бросать не люблю, тем более начальству…

В правой руке она держала стакан с отвратительно желтым соком, а пальцами левой нервно выстукивала мелодию на собственной ноге. Пальцы у нее были очень красивые – длинные, тонкие, с ухоженными ногтями… Пальцы у женщины, скажу тебе, сын, так же важны, как обувь у мужчины – они о многом могут сказать.

– Добрый вечер, – ответил я, зачем-то изо всех сил стараясь не смотреть на эти длинные, выстукивающие мелодию пальцы.

– Можно я приглашу вас на свой концерт? – спросила она.

Я понял, что очень боюсь ее. Да, пожалуй, это первое чувство,

которое я испытал, ее увидев: страх. Она, без сомнения, принадлежала к тому сорту женщин, которые имеют обыкновение властвовать надо мной. Я слишком хорошо знал, что такие встречи в конечном итоге всегда кончаются печально, если не трагически, да-да, через радости, восторги, истерики, я непременно вернусь к одиночеству, которое после всех этих радостей, восторгов и истерик будет восприниматься особенно безысходно.

Я это понял сразу, потому что, когда тебе под пятьдесят, ты уже умеешь мгновенно сканировать не только саму женщину, но и будущую жизнь с ней. Дело, однако, состоит в том, что это сканирование вовсе никак не влияет на поступки… Словно ты знаешь, что впереди пропасть и что после полета непременно будет ужасное падение, ты убежден в этом так же точно, как в том, что после сегодняшней ночи наступит утро, но ты все равно двигаешься к пропасти. И не потому, что так любишь полет, и не потому, что не боишься падений, а просто двигаешься – и все. Словно тебя двигает будущая любовь, которой очень хочется стать настоящей.

Этот магнетизм будущей любви едва ли не самое страшное, что было в моей жизни. Этот магнетизм, который делает тебя несвободным и беспомощным, но против которого нет оружия. И я бы с удовольствием написал: «Сынок, бойся этого магнетизма! Избегай его!» Пустые слова! Не убережешься…

Однако я еще пытался сопротивляться:

– Спасибо большое, – сказал я. – Но вряд ли получится. Я целыми днями репетирую.

По моим расчетам она должны была обидеться. Точнее, я придумал своей головой, что она должна обидеться, но чувствовал-то я, что обидеться она не может.

Она улыбнулась:

– Знаете, жизнь порой такие кульбиты выделывает, – она залезла в сумку и вынула оттуда билет. – Я все-таки оставлю вам пригласительный. У меня к вам одна просьба, простая. Вы положите его в карман, а не в урну, хорошо? А там – поглядим.

Она протянула мне билет, но вдруг отдернула свою красивую руку:

– На всякий случай, я оставлю вам свой телефон.

Она быстро написала телефон, протянула билет и исчезла.

«Какая наглая девица», – подумал я, убирая билет в карман.

«Какая наглая девица…» Дурацкая фраза, будто я ее не сам придумал, а вспомнил реплику из какой-нибудь пьесы! Чужая какая-то фраза, обязательная, а не естественная.

Я тебе так скажу, сынок: когда мысли твои диктуют одно, а

чувства приказывают совсем другое, – чувства всегда побеждают. Они сильнее. Мысли ведь от мозга, от тебя самого происходят, а чувства, или, тем более, интуиция – от Бога. К интуиции ты вообще никакого отношения не имеешь, она падает неясно откуда, и вот ты ходишь, придавленный своими чувствами и изо всех сил пытаешься доказать самому себе, что все догадки и подсказки интуиции – ерунда, ведь совершенно не ясно, на чем они основаны. Однако при этом ты прекрасно понимаешь, что врать и даже искать доказательства собственного вранья умеет мозг, интуиция лгать попросту не умеет, а если тебе, дружок, не получается ей поверить – так это твои проблемы, сам с ними и мучайся, никто не виноват.

Дома я достал из кармана билет. Даже рассматривать его не стал, просто переложил в куртку. Я не выбросил его только потому, что до мусорки идти далеко, а до куртки близко. Я вытащил билет, покрутил в руках (изо всех сил делая вид, что занят своими мыслями, хотя мысли у меня как раз были чужие, словно не мне принадлежавшие) и положил в карман куртки. И всё. Когда-нибудь найду, поверчу в руках, с трудом вспоминая, откуда он взялся, и выкину.

Репетиции «Вишневого сада» шли очень хорошо. Чеховский текст, произнесенный не от себя, как бы играя, отстраненно, стал звучать совершенно по-иному. Казалось, чеховские герои играют потому, что стесняются всерьез произносить столь возвышенные слова, они словно насмехались над текстом, который от этого становился более живым и естественным.

И тут мы уперлись в последний монолог Лопахина. Я понял, что совершенно не знаю, как его ставить… Я не знал, что говорить артисту, а это – самое печальное в моей профессии.

Сначала Лопахин орет: «Я купил!.. Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение…» Тут все понятно: радуется дядька, что сбылась мечта жизни. Ну, и радовался бы. Как вдруг…

О, великий, таинственный Чехов! Что-то он такое в людях понимал, что и через столетие не разобраться.

Мгновение назад абсолютно счастливый человек вдруг произносит: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь». Секунда – и снова взрыв: «Идет новый помещик, владелец вишневого сада! За все могу заплатить?»

Что такое с ним? А может быть, Лопахин, купив вишневый сад, тоже стал ненастоящим, взошел на сцену этого театра, где

все играют? На время или навсегда – не важно, но тоже перестал жить, а начал играть?

Но это все – литература. Как показать? Как объяснить артисту, что ему надо делать? Как превратить литературоведческие выводы в действие? Надеть на Лопахина маску, чтобы он игрался ею, то надевая, то снимая? Разукрасить лицо, чтобы он уже с торгов приехал разукрашенным, так же, как все другие персонажи?

Обо всем об этом больше всего мне хотелось поговорить с твоей мамой. Оказалось, что разговоры с ней – это единственное, чего мне по-настоящему не хватает в жизни, в которой мы ней стали «чужими – близкими» людьми.

Вот этого не хватает: прийти, сесть на диван, некоторое время молча смотреть, как Ира режет картошку так, как я люблю, как ломтики падают на сковородку и начинают вкусно шипеть, а потом сказать: «Понимаешь, Чехов и «Вишневый сад», и я не понимаю…» И внезапно замолчать ненадолго, и по тому, как напряжется Ирина спина, понять, даже лица ее не видя, что всё её внимание принадлежит сейчас мне, и что, даже если она ничего не подскажет, то только ей смогу я выговориться так, что все пойму сам.

Режиссер – это человек, работа которого состоит в том, чтобы кому-нибудь что-нибудь объяснять, и потому мне так трудно думать молча. Язык – ключ, который заводит мой мозг, если язык не работает – мозг не заводится. Мама была тем удивительным человеком, рядом с которым хотелось думать. Что такое нас связывало? Или связывает? Не знаю… Что за ниточка, ленточка, веревочка? Как ее назвать? Любовь? Вряд ли? Понимание? Возможно… Может, необходимость? Может, привычка? Да хоть бы и привычка – какая разница! Разве в словах дело, когда речь идет о человеке, вместе с которым живешь полтора десятка лет? Вот этого самого, чему нет названия, мне и не хватало сейчас больше всего.

Декорации нашей жизни остались прежними: та же квартира; те же знакомые вилки-ложки-тарелки; та же домашняя одежда у мамы и у меня; часы как отставали всегда на две минуты, так и отстают, черт бы их побрал; и маленькая трещинка на чашке никуда не девается… Декорации те же, а жизнь в них – совсем другая. Если из дома уходит любовь, человек испытывает примерно то же, что чувствует горожанин, когда в город входят вражеские войска: мир остался, в общем, тем же – дома, улицы, машины, а жизнь невероятным образом преобразилась и стала чужой.

Я пришел домой рано: ни тебя, ни мамы не было. Впрочем,

мама пришла довольно скоро, я едва успел принять душ. Я заметил на ней новое пальто: красивое, модное, длинное, почти в пол. Впервые она купила такую важную вещь, не посоветовавшись со мной. Это пальто казалось мне вражеским танком, который вторгся на мою территорию.

– Ты купила себе пальто? – задал я совершенно идиотский вопрос.

Мама, не спеша, сняла обновку, повесила ее на вешалку и только потом сказала:

– Приветтыраносегодняестьбудешь?

Она именно так и сказала, как я написал: без пауз.

Я люблю иногда вести разговор в эстетике театра абсурда и потому ответил:

– Красивое. Тебе очень идет.

Мама посмотрела на меня и усмехнулась.

– Захочешь есть, скажи: я подогрею, – в ее словах появились паузы, но это было единственно хорошее, что появилось в ее словах.

– Хочу, – сказал я.

Ира, молча, пошла на кухню.

Я сел на диван.

– Зачем мы живем вместе? – спросил я.

– Если тебе хочется – уходи, – произнесла мама совершенно спокойно, даже не повернувшись ко мне от плиты.

Надо было что-то говорить. Возникла чудовищная необходимость произносить любые слова. Только эти звуки, сложенные хоть в какой-то смысл (пусть самый глупый, незначительный, пустой, злой, всё это не имеет значения) не позволял встрепенуться памяти. Потому что если молчать… Не произносить никаких звуков здесь, на нашей с ней общей кухне, когда я сижу на нашем, блин, диване, а Ира стоит так, словно и нет меня вовсе… Так вот, если молчать на этом месте, здесь, сейчас, тогда память встрепенется, стряхнет оцепенение и начнет доить сердце, высасывая из него всякие сантименты… А это – лишнее, ненужная эта печаль, не надо ее вовсе… Уже лучше: слова, слова, слова…

И тогда я и спросил, чтобы не молчать:

– А тебе, значит, все равно: уйду я или нет?

Ира развернулась и посмотрела на меня.

Я очень хорошо знал этот ее взгляд: так Ирина всегда смотрела на официантов, которые делали что-нибудь не то. Твоя мама очень не любит обслуживающий персонал, и поэтому такой ее взгляд мне доводилось наблюдать не редко.

– Тызнаешьдорогойчтоябольна, – из ее речи снова исчезли

паузы. – Больна, – повторила Ира, и убрала с глаз рыжую прядь, видимо, чтобы волосы не мешали ей смотреть на меня, как на обслуживающий персонал. Она вздохнула и продолжила уже спокойней, пусть с трудом, но все-таки умудряясь делать паузы. – Поэтому мне категорически нельзя нервничать. И тебе, дорогой, не удастся вывести меня из себя, как бы тебе этого ни хотелось.

Вдруг лицо ее побелело, она схватила первое, что подвернулось под руку, – подвернулась тарелка, – и грохнула ее об пол.

– Не надо меня изводить! – произнесла она шепотом, четко отделяя каждое слово.

Я встал и пошел в кабинет. Спиной я почувствовал, что Ира плачет.

Ну, и какой после этого Чехов? Какой Лопахин? Неужели я должен привыкать к тому, что дома я уже больше никогда не смогу спокойно думать? Ну, и зачем, скажите, дом, в котором нельзя спокойно думать?

И я спросил себя в который уж раз: «А зачем я живу тут? Почему не ухожу? Почему я не могу без этого дома? А, может быть, все дело не в Ире, и даже не во мне, а в элементарной лени?»

Куда я, собственно, могу уйти? Придется снимать квартиру, – честно говоря, я даже не очень представляю себе, как это делается. Какую искать квартиру? Однокомнатную? Вроде, одна комната – мало. Двухкомнатную? А зачем мне две комнаты? Ну, ладно, найду я, в конце концов, хату. Сниму. Дальше что? Переезжать туда? Собирать вещи: все свои пиджаки, носки, книжки, рубашки, картины, которые мне дарили, призы всякие, еще чего-то… И вот это все перевозить на съемную квартиру? А потом – что? Потом ходить по городскому начальству, просить квартиру? Выслушивать это вечное: «Вы развелись с женой? Ай-ай-ай… В вашем возрасте? Ну, бывает, бывает… Народный артист, да… Мы подумаем, подумаем. Мы попробуем, попробуем…»

Ужас какой…

Нет, ты – конечно, привязываешь меня к дому… Общение с сыном, это важно. Очень вообще важно, чтобы у сына были папа и мама… Это, правда, необходимо для формирования ребенка… Вот какие слова в голову лезут: формирование ребенка… Но это – правда…

Однако, если честно, лень ведь тоже имеет место ещё как. Инерция. Если бы с неба на меня сейчас упала двухкомнатная квартира. Прилетел бы Карлссон с ключами и сказал: «Вот тебе, народный артист, ключи. Живи». Что бы я делал? Даже страшно

самому себе такой вопрос задавать, чтобы не опозориться с ответом…

И что ж тогда получается? Человек живет в своем доме, со своей женой просто потому, что ему неохота ничего менять? Я – тот, кто считает себя духовным существом; я – тот, кто думает о сути и смысле жизни; я, который целыми днями на репетициях не кого-нибудь, а самого Антона Павловича, разговаривает о том, для чего, собственно, живет человек… Вот этот самый «я» остается в своем доме только потому, что ему, видишь ли, лень из него уходить? Как же такое могло случиться? И почему именно со мной?

А дальше память, конечно, встрепенулась. Чего ж ей, собственно говоря, не встрепенуться, когда человек сидит в кабинете, где вот эта книжка подарена Ирой и вот эта тоже, а вот этого смешного ангела мы купили в Риге, когда еще ездили вместе, а матрац на полу и вовсе напоминает о том, о чем надо бы забыть совершенно и окончательно? И встрепенулась память, и начала высасывать сантименты из сердца…

Стало грустно, пусто и совершенно очевидно, что оставаться дома теперь решительно невозможно. Хоть по городу просто так поездить, музыку послушать, может, все-таки что-то придумается про Лопахина… Я схватил куртку, и тут же нащупал билет. Механически посмотрел на часы: 19. 05. Отлично! Значит, я не успею на концерт, и – отлично, и – хорошо. И, слава Богу.

Билет был большой и мешал рулить. Или я так решил, что мешает? В общем, я его достал. Чтобы выбросить. Билет – необычный – не мягкий бумажный, а твердый, картонный, с красивой картинкой и крупными цифрами: 21.00. Время начала концерта.

Из билета следовало, что концерт состоится в католическом храме, где будет играть органист и петь певица. Поскольку органист был мужчина, я понял, что пригласила меня певица по имени Елизавета.

Дальше я начал что-то такое врать самому себе про то, что, мол, просто схожу на интересный концерт, что я обожаю орган, что там, под музыку, подумаю про Лопахина, и, может быть, там, под музыку чего-нибудь придумаю…

Это все неинтересно. Зачем описывать вранье?

Знаешь, сынок, что я тебе скажу? В жизни невозможно прожить без обмана. Периодически врать приходится всем: родителям, женщинам, начальству, подчиненным, иногда даже друзьям.

Врать нельзя только самому себе: больно уж непродуктивное это занятие. Но именно самих себя силимся мы обмануть чаще

всего. Глупое занятие, нелепое, невозможное, по сути, бессмысленное и даже опасное. Но такое нами всеми любимое.

x x x

Что такое искусство? Искусство – это искушение искусственным, это, когда тебя вырывают из привычной реальности и ты оказываешься в каком-то другом, ненастоящем и очень интересном мире… На программках моего театра написано: *«При выходе из театра не забывайте свою душу».* Вася поначалу был против, как всегда, бубнил: «Получается, что все ваши спектакли затрагивают душу? Не слишком ли высокомерно?» Василию Семеновичу непременно надо поспорить: иначе какой же он директор, если будет со всем соглашаться? Я уже говорил тебе: привычная такая игра. А я думаю: если зритель не хочет оставить в театре свою душу, то зачем тогда делать спектакли?

Как долго нас приучали к мысли, что искусство должно отражать жизнь! И сегодня еще находятся люди, готовые на сцене читать газеты и яростно доказывать, что только таким и должен быть настоящий театр. Между тем, я убежден, что искусство должно отражать не саму жизнь, а именно то, чего в этой жизни не хватает. Искусственная реальность более остра, более терпка, нежели реальность настоящая, именно поэтому человек, соприкоснувшийся с подлинным искусством, за два часа может понять о себе и о мире нечто такое, до чего не смог догадаться за всю жизнь.

Я вошел в Храм. Народу собралось мало. Все сидели тихо и переговаривались почему-то шепотом. На полу стояли огромные свечи, я даже не знал, что свечи бывают такого размера. Колыхались свечи и на стенах. Алтарь осветили слабо, поэтому выглядел он не столько свято, сколько мистически. На лики набегали тени, от чего казалось, что лики живут. Глаза святых смотрели на тебя, словно меняя выражение. С ними хотелось познакомиться.

Это был иной мир, который властно выдергивал тебя и из реальности, и из воспоминаний, и из мыслей твоих. Этот мир вырывал из тебя душу, легко подбрасывал ее на ладонях и спрашивал: «Ну, душа, как дела? Как жизнь? Будем лечиться?» И даже, если бы ты хотел что-нибудь возразить, это было совершенно невозможно в этом полумраке, в присутствии этих ликов.

Вдруг зажегся свет над органом и все как по команде

обернулись назад – поглядеть на органиста. Безо всякого объявления заиграла музыка. Ведь придумал же какой-то гений, что орган в Храме стоит не рядом с алтарем, не сбоку, а сзади: ты смотришь на алтарь, а тебя словно обнимает музыка. Ни в одном концертном зале не может быть такого ощущения.

Потом запела Лиза. Запела… Какой никчемный, ничего не выражающий глагол! Разве можно этим простым, пустым словом выразить то, что делала Лиза? Да, черт возьми, есть такие вещи, которые не подвластны даже нашему великому и могучему! Разумеется, мне не трудно ляпнуть нечто красивое, вроде: в этот вечер я понял, что это такое – пение ангелов. Да, именно здесь, в Храме, когда играл орган и красивая, тонкая женщина в черном платье пела «Ave, Maria», я понял, что такое пение ангелов. Ну, и кому нужна эта моя фраза? Что и кому она поведает, объяснит?

Концерт длился ровно час. За это время те двадцать человек, что пришли в Храм, не услышали ничего, кроме Божественной музыки и Божественного пения: ни конферанса, ни аплодисментов – ничего.

Я вышел на улицу и некоторое время стоял, ожидая пока моя душа вернется на место. Потом я сел в машину и понял, что ехать никуда не могу. Во мне и даже вокруг меня продолжал жить голос, который я бы назвал ангельским, если б это не было так отвратительно слащаво. Ещё во время концерта этот голос жил сам по себе, он был действующим лицом, который отнимал у нас души, чтобы вернуть их на место другими.

Всё это было, пожалуй, слишком красиво, чтобы являться правдой. Но всё это было именно так. К тому же необходимо было предаваться этим красивым размышлениям, чтобы не думать о другом: естественном и отвратительном. Даже самому себе, даже в мыслях я не хотел признаться, что элементарно хочу завести роман с той, которая умеет творить такое с человеческими душами. А с другой стороны, как можно было этого не захотеть?

Пошлость – это ведь не когда два человека занимаются любовью, пошлость – это когда они занимаются любовью под музыку Баха. Думать о романе после такого концерта было пошло, но, как бы ни старались разные религии, людям редко удается обуздать свои мысли, а мыслям мораль неведома.

Я вспомнил, как на дурацкой тусовке у мэра она сказала… как же она сказала?.. Да, она сказала так:

– Жизнь порой выделывает такие удивительные кульбиты…

Тогда я особого внимания на эту фразу не обратил, хотя и запомнил. А сейчас подумал: «Умно, очень умно».

«Умно, – подумал я. – Умно».

Если такая талантливая и красивая женщина окажется дурой

– это будет обман, который никак нельзя допустить. В конце концов, в моем возрасте можно убедить себя в чем угодно, а уж тем более в том, что красавица умна. Я выждал минут сорок и набрал номер, написанный на билете.

– Наконец-то, – сказала трубка вместо «здравствуйте». – А я уж испугалась, что вы не мне звоните.

Разумеется, за сорок минут я успел заготовить и даже отрепетировать свой текст. Но я его тотчас забыл, пытаясь врубиться в то, что сказала Лиза.

Я молчал. Молчал, видимо, слишком долго.

– Алле! – крикнула трубка. – Вы здесь?

– Да-да, – почему-то обрадовался я. – Это вам звонит…

Лиза расхохоталась:

– Да вижу я прекрасно, кто мне звонит. И на концерте я вас видела. Спасибо, что пришли: неожиданно, но приятно.

Я начал вертеть головой.

Лиза снова рассмеялась:

– Как вы смешно вертите головой, как ребенок… Я сижу в машине сзади вас. Сейчас помигаю вам фарами. Видите?

Отрепетированный текст забылся окончательно, и я брякнул:

– Лиза – вы гений!

В трубке раздалась тишина. Даже дыхания не было слышно. Прерывать эту тишину я почему-то боялся.

Наконец, я услышал:

– Спасибо. Это вы серьезно или просто комплемент?

– Совершенно серьезно.

– Вы знаете, для меня очень важен этот концерт. И очень важно, что вы пришли. Вы только скажите мне честно: вам, правда, понравилось? Расскажите, расскажите, мне важно…

– Это было потрясающе. Вы создаете какой-то иной мир, который…

Лиза перебила меня:

– А как я пела? Скажите, мне это важно.

– Гениально. Послушайте, Лиза, я не умею оценивать пение, я не знаю, какие слова надо говорить, чтобы…

– Чтобы – что? А вы говорите, какие хочется, без цели.

– Это было невероятно. Это то, что сегодня так необходимо… И чего сегодня так не хватает… Это – искусство… Это мир, который… Понимаете?.. И вы совсем не должны расстраиваться из-за того, что мало народа… Я вот тоже занимаюсь театром, а не кино… Хотя мне предлагали снимать, но я – театром… Потому что в искусстве количество вообще не играет ничего, никакой, то есть, роли… В искусстве потому что…

Невероятно, но я путался! Я не умел найти слова! Мне всегда

казалось: если я что и умею делать хорошо, так это говорить. И, поняв, что я не могу подобрать слова, я почувствовал едва ли не панику.

Лиза поняла это.

– Знаете, что… – голос у нее стал как будто тверже. – Мой учитель говорил: никогда нельзя петь для кого-то, понимаете? Надо петь только для себя и немножечко для Бога. Вы это понимаете?

– Да, да! – Почти выкрикнул я, почему-то именно в этот момент осознав весь комизм ситуации: мы находимся на расстоянии десятка метров друг от друга, но почему-то упорно говорим по мобильникам. – Может, мы с вами, наконец, уже воссоединимся? Поужинаем где-нибудь, поговорим?

Я вдруг понял, что сто лет не приглашал незнакомых женщин в ресторан, сто лет ни за кем не ухаживал и тысячу лет не объяснялся в любви. Все как-то само собой происходило, а это, наверное, не правильно.

– Нет, нет, – как-то излишне поспешно затараторила Лиза. – Нет, нет, – зачем-то повторила она. – Не сегодня. После концерта… Глупо… Нельзя… Я обязательно на что-нибудь обижусь.

– На что?

– Не знаю… После концерта… Обнаженное все очень, понимаете? Без доспехов. Ну, вы ведь – творческий человек, должны понимать. Вы что-нибудь скажете вполне себе незначительное и невинное, а я обижусь. Глупо обижаться на человека при первом свидании, правда?

Лиза сделала попытку рассмеяться, но попытка явно не удалась. Я молчал.

Лиза продолжала:

– Ну, когда все заканчивается и начинается нормальная жизнь… Ну, в смысле, концерт заканчивается, и начинается все это… Ну, в смысле – жизнь… Вот этот вход оттуда – сюда. Все очень обижает и ранит, понимаете?

Боковым зрением, я почувствовал, что рядом остановилась машина.

Лиза опустила стекло, я тоже опустил.

– Но вы мне обязательно позвоните, – сказала она почему-то очень тихо. – Обязательно. Имейте в виду: я буду ждать!

Она улыбнулась и умчалась.

Именно в эту секунду мне показалось, что я знаю ее много-много лет и что у нас есть какая-то общая жизнь. Не будет, а уже есть.

Тогда я еще не знал, что Лиза умеет делать так, чтобы о ней

постоянно думали. О, это великое умение женщины: исчезать из жизни мужчины так, чтобы оставаться в его памяти и сердце. О, эти безумные диалоги, которые ведет мужчина с женщиной, когда той нет рядом! О, эти бесконечные решения, которые принимаются *в отсутствии,* чтобы потом *в присутствии* ничего не сказать и ничего не решить… О, это великое женское оружие: заставить мужчину думать о себе. Лишь та, которая этим оружием владеет, может рассчитывать на настоящую мужскую любовь и настоящую мужскую страсть.

Лиза всем этим владела. Но тогда я об этом еще не знал.

Я ехал домой, и странным образом у меня в голове сразу и вдруг сложилась завтрашняя репетиция: я понял, что надо говорить артисту, играющему Лопахина и как всю сцену строить…

Все очень просто: монолог Лопахина – это как бы отдельный «спектакль в спектакле», в котором Лопахин проживает всю свою жизнь, причем и прошлую и будущую, отдаваясь и мечтам, и воспоминаниям со страстью сегодняшнего дня. Если не ошибаюсь, Смоктуновский говорил: «Не знаешь, как играть, – играй странно»…

Но это не сумасшествие, не нервная истерика, – нет! Это умение прожить за несколько минут всю свою жизнь. Никаких не надо игр с маской, никаких разукрашиваний. Живой, настоящий человек в одно и то же мгновение живет и в прошлом, и в настоящем. Это могло быть очень интересно.

Я ехал и думал: это понимание пришло случайно, просто потому, что я встряхнулся, получил сильное эмоциональное впечатление, или все-таки оно наступило благодаря Лизе? Разумеется, я мог убедить себя, как в том, так и в другом. Поэтому вопрос стоял так: в чем себя убеждать? Потому что, если Лиза – это женщина, которая дарит вдохновение, – тогда я погиб окончательно.

Знаешь, сынок, в твоем возрасте у парня есть, в сущности, одно желание: затащить женщину в постель. И это хорошее желание, правильное, естественное. Но когда ты вырастешь, ты поймешь: самое прекрасное в любви – это «предлюбье». Когда уже всё ясно, но еще ничего не решено. Когда еще нет никаких проблем, но зато есть столько прекрасных фантазий! Когда твой ум убеждает тебя, что ты еще свободен от любви, но чувства томно подсказывают: нет, дружок, ни хрена не свободен, попался, милейший. Когда ты станешь старше, ты будешь стараться продлить это самое «предлюбье», прекрасно понимая, что, как любое начало, оно так и стремится исчезнуть, превратившись во что-то конкретное, а, значит, проблемное и печальное…

С таким ощущением я еще долго катался по городу. Едва ли не впервые в жизни я ездил в тишине: я не мог слушать всю ту муру, которую передают всякие FM. Слушать такую «музыку» после Лизиного концерта – это все равно, что жевать петрушку после шикарного ужина.

Когда я пришел домой, все уже спали. С радостью и удивлением я обнаружил, что впервые за долгое время меня дома ничего не раздражает. Как будто я зашел сюда из другого мира, заглянул на минутку, а скоро опять уйду в тот мир, где хорошо.

Я понимаю, сынок, что наказы родителей детям не интересны. Отвергая родительские наказы, вы считаете, что направляетесь к свободе, хотя чаще двигаетесь к житейским проблемам и житейской глупости. Не об этом речь. Я просто очень бы хотел, чтобы ты запомнил: «предлюбье» всегда порождает ощущение гармонии. Это любовь может уничтожить мир, раздергать его, даже убить. Любовь требовательна и конкретна, «предлюбье» фантазийно и воздушно. Дли его сколь возможно, сынок. Поверь мне: ты не пожалеешь.

Я позвонил Лизе на следующий день. До репетиции. Я был уверен: если позвоню до – буду репетировать с хорошим настроением.

Мы договорились о встрече мгновенно.

Репетиция прошла замечательно. Актер, играющий Лопахина, все понял. Потом он даже получит какую-то премию за мужскую роль. Но это будет потом.

Потом еще много чего будет.

x x x

Какие только мысли не приходят в голову человеку, особенно по утрам. Вот я лежал на своем матраце, понимая, что безбожно опаздываю на репетицию (а я ненавижу собственные опоздания на репетиции) и думал странные какие-то мысли. Я думал о том, что в моем возрасте человек все чаще всерьез задумывается о неминуемой встрече с Богом.

И вот он думает, человек: разумеется, есть у меня грехи всякие, понятно, у кого их нет? Но ведь я каялся, страдал, часто грешил бездумно, даже, пожалуй, чаще всего грехи совершал по бездумности, по суетности… А потом – мучился, мучился осознанно. Грешил бездумно – мучился осознанно, так успокаивает себя человек. И еще он всегда ласкает свою совесть тем, что работал. Обязательно! Трудился честно, делал свое дело. Ведь одно это меня оправдывает во многом, не так ли? –

спрашивает он сам себя, зная ответ: «Конечно. Оправдывает. Так».

И человек абсолютно убежден почему-то: то дело, которому он посвятил жизнь – его, данное ему Богом. А потом предстанет он перед Всевышним и Тот скажет ему: «Все твои грехи – суета в сравнении с грехом главным. Я ведь тебя посылал на землю, чтобы ты был пророком, чтобы ты людям объяснял главное про их жизнь, чтобы помогал людям словом, чтобы ходил среди них, не думая о хлебе насущном, и рассказывал им про суть. А ты чем занимался? Театром? Воплощал свои фантазии на маленьком пятачке сцены и на это потратил всю свою жизнь? Жил в хорошей квартире, ел вкусную еду и воплощал фантазии? Как же Я ошибся в тебе!»

Когда нам плохо, мы восклицаем: «О, Господи!» А что восклицает Господь, когда плохо Ему? Кому молится Бог? Кого Ему просить о помощи? К кому Ему обращаться, когда невмоготу? А Ему, наверное, часто бывает невмоготу… Рядом с человеком всегда есть Бог, а рядом с Богом – только Он Сам. Как же Ему одиноко…

Странные мысли приходят в голову утром… И не просто утром, а в начале того дня, который обещает быть чудесным. Надо было вставать, завтракать, репетировать и встречаться с Лизой. Такой план жизни мне очень нравился.

Наверное, это неправильно, и даже ужасно, но с тех пор, как в моей жизни возникла Лиза, наши отношения с Ирой стали не то чтобы лучше, а как-то спокойнее. Наверное, дело в том, что я сам стал спокойней и окружающая жизнь стала меня нервировать гораздо меньше.

Вечный студент Трофимов говорит в «Вишневом саде»: «Душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его…».

Сказано, конечно, – как и всё в этой пьесе – пафосно, экзальтированно, не по-человечески – но, когда я слышал эти слова на репетициях, мне казалось, что они отражают мое нынешнее состояние.

Лиза принадлежала к тем редким женщинам, которые приносят предчувствие счастья. Приносят ли они само счастье? – вопрос, на который тогда я еще не знал ответа. «Предлюбье» с такими женщинами – это дорога, которая ведет к счастью. Ну, а когда придет сама любовь, тогда и будем с ней разбираться.

Во время нашей первой встречи мы с Лизой бесконечно долго разговаривали в ресторане, перебивая друг друга и не умея остановиться. Разговаривали так, будто мы тысячу лет знакомы, просто давно не виделись и вот теперь хотим поведать друг другу

о прошедших событиях и накопившихся мыслях.

Я смотрел на нее, на ее – некстати – кокетливую челку, и – кстати – кокетливые глаза, и понимал, что мне с ней почему-то удивительно легко. Как будто наша долгая «невстреча» – это ошибка, которая теперь исправлена, и все наконец-то стало просто и естественно.

Я уже говорил тебе, что в отношениях с женщинами (как, впрочем, и в любых иных отношениях) я больше всего боюсь банальности и скуки. Но разве может быть скучно с той, что поет ангельским голосом? Ведь что бы ни говорил ангел, он всё равно остается самим собой, то есть, ангелом. Да и вообще, какая, в сущности, разница, что именно говорит эта женщина, глупа она или умна, наивна или банальна, – если в любой момент, даже не прикрывая глаз, можно вспомнить, как ангельски она поет, и тогда каждое ее слово, ей-Богу, покажется умным.

Но если быть уж совсем честным (впрочем, разве можно быть честным не совсем?) в тот вечер мы так долго говорили еще и потому, что страшились продолжения. Мы, конечно, прекрасно понимали, что случится между нами дальше, но оба по-юношески боялись этого. И вот мы, наконец, вышли из ресторана.

После тихого ресторана улица обдала нас гарью и шумом, которые показались особенно ужасными и неуместными.

Надо было прощаться, то есть, схватить ее в охапку и начать целовать. Но – посредине улицы, среди толпы?.. Я не решился. Объясниться в любви? Как? Тупо сказать: «Лиза, я вас люблю». Но этим можно легко поставить ее в дурацкое положение, да и вообще как-то не выдавливались из меня эти слова.

Ты, сынок, наверное, думаешь: странные страдания для опытного, немолодого человека. И ты, как всегда, прав. Только, знаешь, что я тебе скажу? Опытные и немолодые не влюбляются; когда человек любого возраста влюбляется, он немедленно превращается в молодого и пугливого. Мечтать и влюбляться – вот, пожалуй, два самых надежных способа не стареть.

В общем, всё, на что меня хватило – спросить:

– Приходите ко мне на репетицию, хотите?

– А можно?

– Вам можно. Завтра придете?

Я смотрел на нее и понимал: в моих глазах она читает ожидание ответа, причем непременно положительного. Конечно, это было ошибкой: когда молодая женщина читает в глазах мужчины ожидание положительного ответа, он точно будет отрицательным…

Ах, боже мой, как жаль, но завтра и послезавтра у нее у самой репетиции. Да еще эти ежедневные занятия вокалом с

концертмейстером… Но она, конечно, с удовольствием, как только сможет… И – мы созвонимся. И – она будет ждать звонка. И – спасибо за прекрасный вечер. И – поцелуй в щеку типа скромный. И – моя попытка схватить за руку типа страстно. Она вырывается и уходит, и у самой машины, не оборачиваясь, машет мне рукой, понимая своим безошибочным женским чутьем, что я на нее смотрю. И – это всё не в кино, не в сериале каком-нибудь случается, а на самом деле происходит, причем именно со мной.

А дальше надо пережить «невстречу», изо всех сил стараясь думать все-таки о Чехове. Уже проклиная это «прекрасное предлюбье», мечтая о воплощении страсти, но одновременно и боясь этого. Ругая себя за мальчишество и одновременно радуясь, что еще можешь быть мальчишкой. Сквозь всю эту суету чувств ощущать главное: ты влюблен в женщину, которую Бог наградил красотой и талантом. Красотой, чтобы мир рядом с ней казался прекрасным и бескрайним, а талантом, чтобы тебе не было рядом с ней скучно. И поэтому ты уже счастлив, хотя не любовь у вас, а затянувшееся «предлюбье». И как бы ты ни страдал на своем матраце, как бы ты ни пытался, по идиотской своей привычке, размышлять о грустном – тебе все равно хорошо, старый ты дурак. И не надо бояться спугнуть счастье, оно само по себе рано или поздно исчезнет, а пока купайся в нем, коли жизнь позволяет тебе счастье.

Я явно повеселел. Не временно, а как-то глубоко: мне стало интересней жить. «Невыносимая легкость бытия» – это, конечно, не обо мне: мое бытие легким не бывает. И все-таки с появлением, пусть пока и призрачным, Лизы (но – надежда, надежда, надежда!) моё дурацкое бытие перестало на меня давить. Собственно, так и должно происходить, это нормально: с появлением любви у человека «сносит крышу», то есть сверху ничего не давит, зато видно небо, звезды, солнце, да и воздуха больше – отсюда и легкость.

О Лизе я думал постоянно. Какая разница, что между нами не произошло ничего, если не считать киношного поцелуя в щеку? Но я-то ведь уже все придумал! Я сочинил целую жизнь с ней, которую сам с удовольствием и проживал! В своих фантазиях я маялся, страдал, ревновал, негодовал, был счастлив, воспарял – короче говоря, жил вполне себе насыщенно и страстно. Пока мы с ней не виделись, я абсолютно свыкся с мыслью, что у нас с Лизой – роман, что она – моя женщина, моя любовь.

Разумеется, я понимал, что для седого и уже – увы! – чуть лысеющего человека всё это как-то очень по-мальчишески, чтобы ни сказать «инфантильно». Но – повторю тебе, сынок, ещё раз: старик или даже просто пожилой, рассудительный мужик

влюбиться не может. Влюбился? Стал пацаном. Всё. И рассуждать больше не о чем.

Я много раз думал поставить знаменитую пьесу Гауптмана «Перед заходом солнца», историю о любви старика к молодой девушке. Но меня всегда смущало, что в финале влюбленный старец жаждет захода. Мне, говорит, необходим закат. Не понимаю! Влюблен? Жажди рассвета, ведь если ты любишь – тебе мучительно необходимо именно начало, а не финал. Ну, а если жаждешь заката, то о какой любви тогда вообще можно разговаривать?

Закат – время усталости, время перед отдыхом, рассвет же – это есть час легкого ожидания жизни. Сейчас, сынок, тебе кажется, что это – просто красивые слова, но пройдет совсем немного времени, поверь мне, и ты поймешь, что в них – суть, основа отношений между мужчиной и женщиной. Если начало любви, это самое «предлюбье» не приносит радости, если не сносит крышу и ты не видишь небо каждую минуту, если воздух, несущий новизну, не врывается в твою жизнь – значит, не любовь это, а блядство или еще какая-нибудь мура.

Легкость или, как могли бы написать критики, воздушность – как раз то, что столь необходимо моему Чехову. Эту самую легкость, которая появилась в спектакле не благодаря моему профессионализму, а исключительно благодаря состоянию моей души, сначала радостно почувствовал я, а затем и артисты. Самый пожилой из них – тот самый, который ушел от жены, а потом вернулся – на одной из репетиций отвел меня в сторону и сказал:

– Это будет ваш лучший спектакль. Потому что мало кому удавалось поставить Чехова так, чтобы в спектакле был воздух, в постановках Антона Павловича всегда царит духота. Послушайте, режиссер, а можно мой Фирс в финале станцует танец отчаяния и любви? Это, по-моему, вполне согласуется с вашей концепцией.

И он показал мне этот танец старика, танец-воспоминание, танец–отчаяние. И я вспомнил, как Лиза говорила мне, что надо петь для себя и немножечко для Бога. Мой артист танцевал именно так, он танцевал не про Фирса, он выплясывал про свою нелепую жизнь, которую все равно жалко, потому что она идет к концу. Когда он закончил – ему захлопали артисты. Я присоединился. Я понял, что только в моем Чехове может танцевать Фирс. И еще я понял, что спектакль у меня есть.

А потом я позвонил Лизе, и она сообщила, что встретиться не может потому, что у нее встреча с каким-то западным антрепренером, и это очень важно. Голос у нее был грустный, и мне еще пришлось ее успокаивать. Мне пришлось ее успокаивать,

хотя еще минуту назад я готов был ее растерзать.

Моя жизнь подчинялась человеку, которого я видел всего два раза в жизни! Мне казалось… Нет, я был убежден, что по-настоящему я живу лишь в фантазиях о Лизе, в этой страстной, придуманной, прекрасной жизни!

Впрочем, были еще телефонные звонки. Иногда она звонила прямо во время репетиций, и тогда я говорил артистам:

– Перерыв. Это из Управления культуры.

И – на полчаса в кабинет. Телефонные разговоры эти не несли, в сущности, никакой информации – так, легкий, лирический треп. И все-таки каждый такой трёп – это маленький, но очевидный шажок друг к другу. Мы не виделись, но мы приближались. И я понимал: это ожидание встречи вполне вероятно важней и, уж наверняка, наполненней самого свидания.

Однако встретиться все равно очень хотелось.

И вдруг позвонила Марина.

Надпись «Марина» на своем мобильнике я увидел вечером, когда мы с мамой пили на кухне чай… Точнее, я смотрел футбол, думая о завтрашней репетиции, а мама изучала тенденции моды в каком-то глянцевом журнале.

Мама говорила:

– Надо же, брюки клеш, вроде, возвращаются. Удивительно, правда?

На что я отвечал:

– Нет, надо быть полным идиотом с кривой башкой и кривыми ногами, чтобы не забить из такого положения.

Тут как раз и позвонила Марина:

– Здравствуй, милый. Как ты там живешь? – И не дожидаясь ответа, сообщила неожиданное. – Я очень скучаю без мужика. Может, ты ко мне приедешь? Ну, просто по дружбе? Нет, правда, это можно считать дружеской помощью.

Я не знал, что ответить. К тому же, мне показалось, что Ира перестала листать журнал, прислушиваясь к моему разговору.

– Да ты не бойся, милый, – я как будто видел Маринину улыбку. – Никаких обязательств. Чисто дружеская помощь. Завтра можешь?

– Завтра у меня репетиция, – ответил я как мог серьезно и зачем-то посмотрел на Ирину.

Ира мне иронично улыбалась. Или показалось?

– Ну, не целый же день! Приезжай вечерком, ненадолго. Дорогу-то не забыл? – Марина часто задышала в трубку, намекая, видимо, на страсть.

Я не знал, что ответить, и сказал то, что ответилось первым:

– Часов в пять, нормально?

– Отлично. Целую, милый.

– Это из Управления культуры, – зачем-то соврал я маме, хотя она меня ни о чем не спрашивала. – Требуют приехать.

– А юбки теперь любой длины можно носить, – ответила мама и улыбнулась мимо меня – каким-то своим мыслям.

На следующий день по дороге в театр вместо того, чтобы думать про Чехова, я говорил себе такие слова: «Знаешь ли ты, дорогой, что сегодняшняя молодежь очень любит поговорку: «Секс – не повод для знакомства?», – вот так я себе говорил, жестко. – И если женщина зовет мужчину для траханья, а он мается: «ехать – не ехать», потому что у него, видишь ли, какая-то неясная, невоплощенная любовь, это значит, он не просто старомодный, а старый. Забыл, что ли, любезный, про борьбу с простатитом? Простатит фантазиями не лечится, даже самыми страстными, понял? Марина прекрасно осознает, что играет в твоей жизни простую, антипростатитную роль, ни на что не претендует, а просто хочет помочь себе и тебе. И не надо, дружище, придумывать проблемы на том самом пустом месте, где они не должны произрастать. Когда у тебя последний раз был секс, помнишь? – строго спрашивал я себя, и сам же себе отвечал. – То-то же. Простатит не дремлет. И шанс его заиметь не уменьшается даже от самых лирических бесед по телефону. Ты ведь взрослый уже дяденька, вот и веди себя соответственно, а не как прыщавый пацан, утверждающий, что не даст ни одного поцелуя без любви. Наш мир идет по пути упрощения всего: начиная от перемещения по планете и заканчивая человеческими чувствами, начиняя от еды и заканчивая способами решения любых проблем. Знаешь, что я скажу тебе, дружище? Фаст-фуд – это давно уже не просто еда, но философия жизни. Жизни, в которой всё, может, и не очень вкусно и полезно, да и сделано без страсти, но зато дарит быстрое решение всех проблем без излишних эмоциональных, трудовых и прочих затрат. Быстрое решение любой проблемы! – вот девиз сегодняшнего дня. И если ты не поддерживаешь этот девиз, значит, ты не живешь в сегодняшнем дне. Вот и всё. А если поддерживаешь, тогда живи, как все, и не ной».

Я был очень убедителен для самого себя. И это как-то успокаивало.

И ещё я думал: «Интересно, а как меня встретит Марина? Если бы я ехал поговорить, – она встретила бы меня накрытым столом в домашней одежде. А так – как? Разобранной постелью в костюме Евы?»

Марина встретила меня в джинсах и футболке, накрытым на кухне столом.

– Привет, – сказала Марина. – Пошли, покормлю тебя. Ты ведь, небось, и не ел ничего после репетиции?

– Ел, – зачем-то пролепетал я, и, уже совсем некстати, добавил. – У нас буфет хороший.

Марина ничего не ответила. Пошла на кухню и огромным черпаком – я всегда удивлялся: зачем одинокой женщине такой здоровый черпак, чтобы все время об одиночестве напоминать, что ли? – налила борща. А борщ Марина действительно готовила отменный.

Я молча ел. Она молча смотрела.

Потом сказала:

– Соскучилась я по тебе, правда. Да и вообще как-то тоскливо стало, захотелось с близким человеком поговорить. Ты ведь мне близкий человек, милый?

В ответ я мог только кивнуть: у меня был полный рот борща.

Марина улыбнулась:

– Ну, и славно. Если бы я тебе сказала: «Приходи – поговорим», фиг бы дождалась. А так – ты сразу приехал. Молодец. Молодой еще, значит, борзый… Я серьезно говорю, не обижайся. Давай прожуй и рассказывай, как живешь.

Я что-то сказал. Она что-то ответила. Потом я. Потом она. Потом она дала котлеты с картошкой, которая была пожарена именно так, как я люблю.

И я опять что-то сказал. И она – ответила. А потом – она, а потом – я… Разговор разгонялся, как камень, брошенный с горы – все время цеплялся за что-то, останавливался, замирал, но уже через мгновение освобождено катился дальше все быстрей и быстрей… Мы действительно разговаривали как близкие, если не сказать – родные люди, и я поймал себя на том, что хочу рассказать ей про Лизу, с трудом сдержался.

Я вдруг понял, что давно ни с кем не разговаривал просто так, безо всяких целей и задач, и что очень истосковался по этим разговорам. Когда-то, в прежней жизни, мы любили беседовать с твоей мамой именно так, ни о чем, когда смысл беседы не в информации, которой ты делишься с собеседником, но в самом разговоре. Я тогда грелся у этой нашей домашней болтовни, и когда вместе со всем, что составляло жизнь до болезни, эти разговоры исчезли, я постарался забыть их, как старался не вспоминать и многое иное, что составляло гармонию прежней жизни. И только здесь, у случайной, в общем, женщины Марины я понял, как мне холодно без этого пустого, но теплого трепа. Я уже говорил тебе, что язык – ключ, который заводит мой мозг, что-то там, в мозгу моем, рождается хорошее, от таких простых, ни к чему не обязывающих разговоров.

– А ко мне пришел от простатита лечиться? – вдруг неожиданно спросила Марина. И сама же ответила. – А ко мне пришел от простатита лечиться. Да я-то – что? Я – пожалуйста. Как говорится: с нашим удовольствием, милый. Только тебе самому потом противно будет. Ты ведь у нас дяденька совестливый… Ведь, насколько я понимаю, ты себе уже нашел очередную любовь на всю жизнь?

Как она поняла? Откуда? С чего? Какая разница… Значит, я опять потерял человека, который меня понимал, а, может быть, любил.

После чая я понял, что надо уходить.

У самой двери Марина сказала, стеснительно опуская глаза:

– Слышь, а ты это… Денег мне не одолжишь? Чуток совсем. До зарплаты не доживу буквально. Ты извини, милый, но такие времена: больше не у кого попросить… Я отдам, правда.

Меня ужасно обрадовала эта просьба: я почувствовал себя сильным и нужным. Я достал свой красивый кожаный бумажник, не считая вынул оттуда несколько купюр, с улыбкой протянул их Марине, с улыбкой произнес:

– Отдашь когда сможешь.

И, легко перепрыгивая через ступеньки, побежал по лестнице вниз.

Еще мгновение назад я жалел себя, а тут понял, что мне ужасно жалко эту юную красавицу Марину. Почти до слез. До того, что жалость эта портит настроение и делает почти беспросветной картину мира. Эта была ужасная, бессмысленная жалость, которая если и подвигнет на что-то, то только на самобичевание.

И тут позвонила Лиза – хорошая моя девочка, которая, – во всяком случае, пока – все делала вовремя. Лиза говорила мне нежные слова обо мне. Сейчас это было очень кстати.

x x x

Секс – тест. То, что ты понимаешь о любви сразу после секса – это и есть настоящее, подлинное понимание твоей любви.

Твоя любовь, твоя женщина отдала тебе себя целиком, ты мог делать с ней всё, что угодно, она была твоей, и вот ты добился от нее всего, чего хотел. Что испытываешь ты в первые секунды после удовлетворения, когда дыхание твое еще неровно, а мозг постепенно и лениво возвращает тебя к реальности? Что испытываешь ты к своей женщине? Хочешь ли ты ее *после?* Я – не в физиологическом смысле, я – в ином, настоящем, который

зависит не от тела, а от души? Любишь ли ты ее в эти первые секунды *после?* Не через час, не через два, не когда вы выйдете из подъезда, и ты чуть отстанешь от нее, чтобы оценить фигуру и обрадоваться себе и жизни: это удивительное тело только что принадлежало тебе, оно – твоё и твоим будет… Нет, нет, не тогда – любишь ли ты ее сразу *после?* Хочешь ли ты ее обнять, поцеловать, прижать, или радостно и, что важно, естественно, подчиняясь физиологии, собираешься отвернуться, передохнуть? Хватит ли тебя на улыбку, и только ли на улыбку хватит тебя? Вот он – тест, вот он – детектор лжи, на котором проверяется истинность любви. Потому что тут не соврешь… Да, тут соврать не получится, не выйдет, даже если очень захочешь.

В тот, самый первый наш раз, я лежал рядом с Лизой и был абсолютно счастлив. Именно *после*, а не *до. До* – мешал страх – понятный, очевидный, который даже и объяснять не надо.

Счастье пришло *после. После* пришло счастье. И не от того, что всё получилось, и даже не от того, что мы так идеально подходили друг другу и так абсолютно друг друга понимали. Я был счастлив от своей собственной любви, от того, что случившееся наконец между нами не утолило её, а сделало эту любовь ещё больше. Я был счастлив своей любовью, своим желанием, и в этот миг мне казалось, что оно продлится вечно, и я никогда не смогу утолить его до конца, до равнодушной усталости.

Придя окончательно в себя и поцеловав Лизу несчетное количество раз, я посмотрел вокруг, и даже чужие стены, чужой стол, чужой телевизор, чужое всё – не могло испортить этого ощущения абсолютного, вечного счастья.

Наш роман развивался спокойно и не спеша. Сначала мы много разговаривали, и постепенно эти разговоры стали естественными и необходимыми. Потом мы целовались в машине, и понемногу эти поцелуи стали ожидаемыми и тоже необходимыми.

Плохо было то, что Лиза постоянно исчезала. Я все время убеждал себя в том, что к ее работе надо относиться уважительно, что она – талант и прочие бла-бла-бла, которые легко можно самому себе придумать и самого себя ими успокоить. Только поверить в них нелегко: ведь она исчезала! И я не мог избавиться от ощущения, что она исчезает не просто так, а именно – от меня, что там, в неведомом мне «где-то» у нее есть что-то свое – прекрасное и наполненное, где я не нужен, где и без меня идет прекрасная, цветная жизнь, а я не могу добавить в нее даже оттенка.

В этом «где-то» крутилось очень много мужиков… Они

звонили по телефону, и Лиза улыбалась и даже хохотала, разговаривая с ними. Или подбегали на улице, целовали её в щеку, обнимали за плечи, бросая мне равнодушное «Здрасьте», и убегали, непременно крикнув: «Надо обязательно встретиться и поговорить». Их могучие отвратительные басы постоянно слышались, когда я звонил Лизе.

Если это и была ревность, то какая-то странная, до этого мне незнакомая. Я не подозревал, что у Лизы кто-то есть, что с кем-то она зашла дальше, чем со мной… Упаси Бог! Я если и ревновал ее, то не к мужчинам, а к той, другой, жизни, где ей было хорошо и цветасто без меня. И вообще, почему мы убеждены, что когда женщина отдает другим свое тело – это измена, а когда не тебе дарит свое время, свой интерес, свою душу наконец, – то это она просто занята делами?

Между тем, приближалась премьера моего «Вишневого сада». Мне настолько нравился будущий спектакль, что становилось не по себе. Я был совершенно уверен в успехе, а это – нехороший признак. Спектакль уже вошел в такую фазу, когда я был ему не нужен: этот состав катился без меня, остановить его было невозможно, внести существенные изменения – тоже. Нет, конечно, я назначал прогоны, делал замечания, покрикивал, пошучивал – в общем, вел себя, как положено. Но мысли мои были заняты другим, а это тоже – признак не очень хороший.

Но поделать с собой я ничего не мог. Как там говорила моя жена? Мы – близкие, чужие люди? Так вот мне стало казаться, что с Лизой мы родные, но не близкие люди. Не близкие в этом самом, немного пошлом, но необходимом смысле.

Однажды в машине, традиционно страстно целуя Лизу, я позволил своим рукам немного лишнего. Лиза не сопротивлялась.

– Я хочу тебя, – выдохнул я неожиданную для себя фразу, которая звучала отвратительно, однако, абсолютно точно отражала мои желания.

– И я, – вздохнула Лиза. – Ну, и где мы удовлетворим наши желания?

– Я сниму для нас квартиру, – буркнул я, постепенно с ужасом понимая, что я совершенно не знаю, как сегодня снимаются квартиры.

Лиза чуть отодвинулась от меня и сказала совершенно спокойно:

– Хорошая идея. Только мне почему-то кажется, что она завтра не осуществится. И послезавтра тоже. В Москве полно гостиниц, где можно снять номер на час-два. Еще можно пойти в сауну.

– Откуда ты все это знаешь? – удивился я, стараясь сдержать

некстати появившуюся злость.

– Подружки рассказывали, – пошутила Лиза. – Ты будешь смеяться, но это – правда. Я никогда в жизни не ходила с мужиком в сауну и никогда в жизни не занималась с мужиком любовью в гостинице, где сдаются номера на час-два. Это такая же правда, как то, что я люблю тебя. Я люблю тебя, мой дорогой, и хочу помочь решить тебе эту проблему. Насколько я успела тебя узнать, эта проблема будет тебя мучить, причем, нешуточно. А оно кому надо?

В очередной раз я понял, как я ее обожаю.

Когда мы подъезжали к гостинице, я нервничал, и Лиза тоже. Мне казалось, что у нас обоих было ощущение, будто мы несем впереди себя огромный плакат «МЫ ИДЕМ ТРАХАТЬСЯ!» И с этим плакатом выходим из машины, ищем маленькую гостиницу, заходим в нее… И не то чтобы нас все осуждают, просто всем понятно, с какой целью мы идем.

Больше всего я боялся дурацких вопросов, сальных улыбок, боялся, что администратор будет смотреть на меня как бы понимающе, словно говоря: молодец, мужик! смотри-ка: старый, а такую телку отхватил! И еще я опасался вполне серьезно, что в этом случае дам администратору в морду и всё испорчу.

Администратор нас словно не видел. Не то, чтобы он не смотрел на нас, – он глядел сквозь. Он был вежлив, мил, даже улыбчив, но при этом его словно не было здесь. Вежливо, но однозначно он подчеркивал, что ни мы к нему, ни он к нам не имеет ровным счетом никакого отношения.

Наш номер находился на третьем этаже. Когда мы сели в лифт, я подумал: броситься на Лизу и начать ее целовать – это будет слишком пошло и банально. И поэтому быстро и даже увлеченно начал говорить про то, как, мол, здорово вышколен администратор, и вообще, не удивительно ли, что в нашей стране лучше всего получилось быстро воспитать именно лакеев: администраторов в гостинице, продавцов, официантов… Куда ни кинь – всюду проблемы: с бизнесменами, учителями, фермерами, да с людьми любых профессий, но с теми, кто работает в обслуге – все о`кей.

– Как же я тебя люблю, дурака! – улыбнулась Лиза, и провела рукой по моей щеке.

Номер оказался огромным, но вполне уютным, и, главное, не противным. В нем все было добротным: кровать, два кресла, журнальный столик. У стены стоял большой письменный стол с огромной настольной лампой.

«Сюда, наверное, кто-нибудь приходит просто работать», – некстати подумал я.

Лиза зачем-то проверила кровать на мягкость, посмотрела хитро, сказала самую дурацкую фразу из всех, которые можно было бы сказать:

– Ты не поможешь мне раздеться?..

…И вот мы лежим на огромной чужой кровати на чужих белых простынях, у нас есть чужие халаты и чужие тапочки, мы можем посмотреть чужой телевизор и даже чужой, одноразовой щеткой почистить зубы, воспользовавшись крохотным тюбиком чужой зубной пасты. И все это каким-то удивительным образом не мешает нам осознавать собственное счастье.

Конечно, отвратительно и мерзко, что я говорю всё это собственному сыну, но я не хочу врать или недоговаривать, что, в сущности, одно и то же. Даже не то, чтобы не хочу, просто у меня сейчас по-другому не получится, ну, потому что… Не важно. Не суть. Неохота объяснять. Прости, но так было. Было именно так, хоть ты тресни!

Мои руки как будто вспоминали, что это такое: гладить тело женщины, которую хочешь каждую минуту и *после* так же, как *до*. Желание, возникающее *до* – признак мужского здоровья; желание, возникающее *после* – признак мужской любви. И потому первое желание возникает у нас гораздо чаще, чем второе, но тем второе – ценнее.

У Лизы зазвонил телефон.

Она схватила его, сказала: «Аллё», и тут же начала кокетничать. Даже если бы я не слышал мужской голос в трубке, а только бы видел Лизу, все равно бы понял, что беседует она не с дамой.

– Завтра? – переспросила Лиза. – Да ты что?! Так поздно встречаться с красивым мужчиной? Ну, не знаю, не знаю… Договорились, конечно. Куда ж от тебя денешься?

Спрашивать у нее: «Кто это?» – было отвратительно. Не спрашивать – невозможно. Обижаться – глупо и унизительно. Не обижаться – не получалось.

Поэтому я отвернулся к стене.

Лиза погладила меня по спине, поцеловала в ухо и сообщила:

– Это Васька. Молодой, а уже заслуженный, между прочим, артист. Откуда-то из провинции… Из Твери… Или из Сыктывкара… Не помню, да и какая разница? Короче, у них там звания быстрей дают. Репетицию назначил на завтра на девять вечера. Представляешь?

Я еще не успел сообразить, как на это реагировать: то ли обидеться, то ли не поверить, то ли благородно обрадоваться, а Лиза уже сказала:

– Хочешь, вместе пойдем? У тебя ж репетиций по вечерам не

бывает? По вечерам у тебя спектакли дают. Ну вот и поглядишь, как репетируют другие.

Нет, никогда в жизни, сняв штаны, я не садился с девушкой пить кофе, почему же я тогда такой мудак? Почему я все время хочу думать про Лизу всякие гадости? Самого же раздражает, а все равно думаю, ужас какой-то.

Репетиция проходила в музыкальной школе. Удивительно, но, прожив почти полвека, я никогда в музыкальную школу не захаживал, а потому и не подозревал, что это настолько старое и неухоженное заведение. Невозможно было себе представить, что в этих грязных стенах с покосившимися и пожелтевшими фотографиями, за этими скрипучими и хлопающими дверьми (а я-то наивно был уверен, что в музыкальной школе двери должны открываться-закрываться бесшумно) – рождается музыка. Но музыка рождалась, несмотря на поздний час, практически из-за каждой двери.

– Мой друг, – представила меня Лиза огромному молодому человеку, лицо которого выражало постоянное, детское почти удивление.

Человек протянул мне ладонь, напоминающую небольшую белую сковородку.

– Вася, – он улыбнулся и добавил беззлобно. – Сонька не пришла, сука… Концертмейстер, – с улыбкой объяснил он мне. – Придется, блин, самому инструмент насиловать. Ты, Лизок, извини, но все-таки не тебя, а инструмент.

Он расхохотался собственной шутке.

Я понимал, что начинаю его ненавидеть.

А потом он ударил по клавишам своими огромными ручищами, запел, и стало совершенно не важно: умный ли Вася человек или не очень, пошлый до конца или не совсем… Вася вообще перестал иметь какое-либо значение, его не стало, остался лишь могучий голос, который рвался на свободу из обшарпанной аудитории.

Потом запела Лиза. Я смотрел на нее и гордился тем, что еще вчера обнимал эту удивительную женщину.

Лиза все время подскакивала ко мне и спрашивала шепотом:

– Тебе нравится, а? Как тебе? Нравится?

Я немного самодовольно кивал головой, произносил слова: «Гениально!», «Потрясающе!», довольная Лиза убегала к своему атланту, который уже не вызывал у меня ни раздражения, ни ревности, а я думал о том, что такого счастья, как вчера и сегодня, у меня больше не будет никогда. Ну, почему я думал об этом, когда все было так хорошо?

Знаешь, сын, я дорос до седых волос, но так и не понял: мы

предчувствуем печали или приближаем их? Человек думал о плохом, оно случилось, и он радостно сообщает всем: «Так я и знал! Именно это я и предчувствовал!» А, может быть, если бы он думал о хорошем – сбылось именно оно? Может быть, Господь добр и посылает нам именно то, чего мы ждем? Ждем хорошее – посылает хорошее, ждем плохое – ну, что ж, ваши ожидания, вы и берите.

Вася с Лизой пели, переговаривались, опять пели и снова произносили, вроде, русские, но абсолютно не понятные мне слова, и Лиза снова подбегала ко мне, и снова спрашивала, и даже один раз меня поцеловала, от чего круглое лицо Васи даже как будто вытянулось от удивления.

И вдруг мне стало грустно. Не от предчувствия плохого, нет. Просто я смотрел на эту совершенно чужую жизнь и понимал: эта столь необходимая Лизе жизнь всегда будет стоять между нами, разъединяя нас, и Лиза никогда – полностью и до конца – моей не будет.

Эгоистично? Безусловно. Но покажи мне такого влюбленного, который не был бы эгоистом? Все эти разговоры про то, что надо любить другого больше, чем ты любишь себя самого, – это все оставим для книжек и стихов. Даже, когда влюбленный жертвует собой ради любимой, уверяю тебя, он это делает только потому, что по-другому у него не получится, так ему легче. И вообще, единственное желание по-настоящему влюбленного мужчины: засунуть свою возлюбленную в карман, чтобы она всегда была рядом, чтобы точно знать: она всегда с тобой и нет у нее никакой чужой жизни, где ты не нужен, и всегда, в любой момент ты можешь достать ее, чтобы убедиться, что она тут. Влюбленный – это тот, кто хочет быть сутью и смыслом своей женщины и кто категорически возражает против того, чтобы у нее была еще какая-нибудь суть и еще какой-нибудь смысл.

– Тебе понравилась моя репетиция? – спросила Лиза, когда мы привычно, но приятно целовались в ее машине.

– Очень, – соврал я.

– Еще придешь?

– Обязательно, – снова соврал я.

Лиза улыбнулась, и мы снова начали целоваться.

К слову сказать: ко мне на репетицию Лиза так никогда и не пришла.

x x x

«Вишневый сад» первый раз сыграли на замену. Ну, ты

знаешь, что есть такая театральная традиция: перед премьерой пару раз сыграть новый спектакль, заменяя им уже идущий, чтобы почувствовать зрителя, проверить его реакции.

Бедные, несчастные люди пришли посмеяться на «ОБЭЖ», а тут – пожалуйста, замена, да ещё – Чехов… Но поскольку в спектакле были заняты все звезды нашего театра, билеты сдали не многие.

Я сидел в зале и чувствовал, как долго не могут зрители въехать в то, что на сцене – Чехов. Странный, воздушный мир театрального закулисья, разрисованные лица актеров, почти маски, бесконечное жеманство, «театр в театре» – все это поначалу раздражало, однако потом стало заинтересовывать. С неловкостью, а потом все более и более радостно, люди начали смеяться. Для российского зрителя смеяться над героями «Вишневого сада» – это серьезный поступок. И они его совершили! Мне показалось, что они поняли: перед ними – обыкновенные люди, которые изо всех сил стараются быть королями и королевами; маленькие люди, которые больше всего на свете боятся того, что мир поймет: они – не великаны, и поэтому эти лилипуты напыщенно и страстно стараются выглядеть огромными. Так дети изо всех сил изображают взрослых, не понимая, как смешны их потуги.

Зритель в это, как нынче принято говорить, «врубился». И это было самое главное. Нам устроили такую овацию, что я, быть может, впервые в жизни совсем не боялся премьеры.

На премьеру пришла другая публика: люди, которые были убеждены: интеллигент – это звание. Подобные господа уверены, что они лично ответственны за творчество Чехова и что именно им Антон Павлович оставил духовное завещание: как надо ставить его на театре.

Премьерная публика всегда четко делится на две группы: зрители, которые пришли получить удовольствие, и премьерный бомонд, который прибыл дать оценку увиденному. Никогда в моей жизни граница между ними не обозначалась столь четко.

На финальных аплодисментах орали и «Браво!», и «Позор!» (Никогда в своей жизни я не слышал в театре криков: «Позор!» – мне очень понравилось.) Поразительно, но бомонд довольно спокойно и терпимо отнесся к тому, что я раздел чеховскую Машу, но вот пережить, как им казалось, насмешку над героями «Вишневого сада» эта наша «интеллигенция» не могла. На банкете ко мне подошел критик, сам себя называющий «известным», посмотрел на меня взглядом, который, видимо, ему казался презрительным, залпом выпил рюмку водки, закусил тарталеткой с икрой, прикрыв рот, рыгнул в сторону и сообщил мне, что

больше никогда не подаст мне руки. Я предложил ему поручкаться на прощание, но критик не согласился.

Мой Вася, мой директор торжествовал:

– Это скандал! – радостно кричал он. – Ты сделал это! Мы ещё больше повысим цены на билеты! Ты – гений! Я счастлив, что работаю с тобой! Мы, знаешь, что сделаем? Мы объединим «Три сестры» и «Вишневый сад» на одной афише, и сверху пустим слоган «Чехов не для слабонервных». Как, а?

Потом Вася шепотом предложил мне, чтобы на следующем спектакле в меня швырнули яйцо, а специально приглашенные и оплаченные журналисты напишут про это во все самые мерзкие, то есть самые популярные газеты. Я был настолько счастлив, что не нашел в себе сил отказаться, попросил лишь поменять яйцо на помидор, потому что он менее маркий. Вася, сияя, обещал так и сделать и даже обнял меня от избытка чувств, что с ним случалось крайне редко.

Всё кружилось: чьи-то лица, слова восторга и поношения, интервью, камеры, микрофоны… Девочки-журналистки, спрашивающие всякий идиотизм, вроде: «Что вас подвигло на подобную трактовку Чехова?», и явно не удовлетворенные ответом: «Жизнь меня подвигла»… Крики: духовность! бездуховность! Россия! театр! наградить! уволить! кто ему дал право?! это новое слово! мне стыдно, что я… я счастлив, что вы…

Во всей этой кутерьме я даже не сразу заметил отсутствие твоей мамы. Вышел из буфета, где проходил банкет, побродил по театру, поискал… Нет, Ирины точно не было, значит, впервые в нашей жизни она не пришла на послепремьерный банкет.

Расстроился ли я? Если честно: скорее, удивился. Но быстро успокоил себя тем, что на следующий спектакль придет Лиза, а она-то уж точно найдет слова, которые мне надо сказать после такой премьеры.

Как всегда после премьеры, я возвращался домой часа в два ночи. Постарался тихо открыть дверь, но в коридоре и на кухне горел свет: Ира не спала. На кухне был накрыт стол.

Мама обняла меня, поцеловала, сказала:

– Ты гений.

Я растерялся. Я не знал, как реагировать. Я попытался сказать какую-то дурацкую шутку.

Ира смотрела на меня по-доброму. Мне кажется, что впервые не за дни – за годы я ловил такой взгляд твоей мамы.

– Знаешь, что я тебе скажу? Это спектакль про меня, – я услышал, казалось навсегда забытый, мягкий и нежный голос моей мамы. – Конечно, про всех, я понимаю, но… еще и про меня. Раневская – это я. Я тоже постоянно играю в какую-то игру и

совсем разучилась жить по-настоящему.

Мне бы обрадоваться, а я испугался. Да, да, да, я испугался! Потому что рушилось стройное построение мира, в основании которого лежала понятная картина. Вот есть жена: больная, равнодушная к своему мужу и старающаяся жить самостоятельной жизнью. Вот есть муж: жалеющий свою жену, но считающий себя вправе в такой ситуации тоже жить совершенно самостоятельно. И вдруг стала возникать какая-то совсем новая картина, и я совершенно не понимал, что с ней делать.

– Ты, наверное, очень устал, – улыбнулась Ира. – Может, посидим хоть немножко? Выпьем даже не за твой успех, а за твой невероятный талант.

Мы сели на кухне. Я вдруг понял, что во всей этой суете я, как всегда, забыл поесть и набросился на потрясающе вкусную еду: никто так, как твоя мама, не знает мои гастрономические вкусы. Впрочем, не только гастрономические…

Еда хороша ещё и тем, что дает занятие рту: можно есть и не разговаривать. А то ведь я совершенно не понимал, как надо себя вести.

Ирина все подкладывала мне и повторяла:

– Ешь, ешь. Ты заслужил. Ешь ещё, ешь.

Впервые за долгие годы Ирина говорила безостановочно, страстно и очень интересно. Она рассуждала про спектакль, и, что самое невероятное, произносила ровно те слова, которые я выкрикивал артистам на репетициях, словно невидимкой приходила к нам и подслушивала.

Я вдруг понял – и, опять же, скорее с ужасом, чем с восторгом, – что меня никто и никогда не будет понимать так, как твоя мама. Потому что если женщина живет с мужчиной больше десяти лет, она успевает изучить каждую клеточку и его тела, и его души. Больше никто и никогда не будет меня так чувствовать и понимать.

Я как-то позабыл об этом, потому что та, прежняя Ира вошла в марево болезни, растворилась в ней, а из марева появилась другая, сказавшая про нас: «мы – чужие близкие люди». И вдруг прежняя опять возникла. Зачем мне это чудо? Что мне с ним делать?

И еще я подумал, совсем уж некстати и не вовремя, что мы все очень любим молить Бога о чуде, совершенно не думая: а сможем ли мы им распорядиться? Ведь нет у нас никакого опыта взаимоотношений с чудом.

Я вдруг увидел, какой могла быть наша жизнь, если бы все сложилось по-другому. Сложилось по-другому… А кто, собственно, складывал? Я? Ира? Бог? Кто тот строитель, который

сложил то, что есть, вместо того, что могло бы быть? Кого винить? Кого молить? И что со всем этим делать? Наплевать? Сделать вид, что ничего не происходит? Или броситься целовать Ирину, а потом пойти с ней в спальню, которая когда-то была нашей? А что будет завтра? И куда деть то, что было вчера? Начать жизнь сначала? Ерунда, бред! Жизнь никогда не получится начать сначала, как минимум, по одной причине: то, что было до этого «сначала», то, что теперь тебе хочется забыть, – именно оно сделало тебя таким, каков ты есть, и не получится у тебя быть настолько независимым от прошлого, чтобы начать с нуля. Есть какой-то удивительный Божественный порядок в том, что жизнь – это всегда продолжение, ведь даже рождение – не начало, да и смерть – не конец.

Ты вышел, заспанный, из своей комнаты, посмотрел на нас, улыбнулся удивленно.

– Обалдеть: вы сидите и не ругаетесь! Офигеть можно! Короче, искусство действует на людей благотворно, – сообщил ты и отправился досыпать.

Мы сидели до рассвета и разговаривали. Это был какой-то привет то ли из прошлой, то ли из несостоявшейся жизни… Было здорово, но периодически я чувствовал себя неуютно, словно человек, который вынужден проживать не свою жизнь.

А потом мама сказала:

– Ну, всё. Ты ведь ужасно устал. Я хочу сказать тебе напоследок: ты поставил свой лучший спектакль. Тебя разнесут в щепки, но ты никого не слушай.

Она поцеловала меня и ушла к себе.

Не более секунды размышлял я: не отправиться ли вслед за мамой, и пошел на свой матрац, понимая, что теперь изо всех сил буду стараться делать вид, будто этой «послепремьерной» ночи дома – вообще не существовало. Потому что если это чудо, то я совершенно не знаю, что с ним делать. А если эта ночь произошла взаправду, – тогда надо менять жизнь. А это занятие, которое я ненавижу больше всего на свете: менять жизнь.

Утром меня разбудила смска от Лизы: «Любимый! Жду твоей премьеры. Мы не можем встретиться раньше – мне надо с тобой поговорить?»

Я вышел на кухню, – мама уже ушла по каким-то своим, неведомым мне делам.

На столе, прикрытые салфеткой, увядали остатки вчерашнего ужина.

Мне отчего-то стало так грустно, что захотелось выть.

«Наверное, я просто устал», – сообщил я себе, и отправился в душ в тупой надежде навсегда смыть остатки вчерашней ночи.

x x x

Лиза вышла из машины, я поцеловал ее и ощутил ту похотливую дрожь, которая пробивает лишь тогда, когда ты принимаешь женщину всю, целиком, когда ты таешь от одного ее взгляда, когда, разговаривая с ней, понимаешь, что концентрируешься то на ее груди, то на шее, то на плечах… И это удивительное, счастливое чувство, потому что на самом деле не все женщины желанны каждую минуту: это ведь химия, а она точно чувствам не подчиняется.

Лиза смотрела на меня своими умными глазами, пачкала губы салатным майонезом, что казалось мне невероятно эротичным… Она ела салат, а майонез тек по ее губам, и она почему-то не сразу его слизывала.

– Послушай, – сказала Лиза, игриво облизывая губы. – Как тебе кажется: а у наших отношений есть какая-нибудь перспектива?

Капля майонеза все-таки упала с верхней губы, но Лиза каким-то чудом сумела подхватить ее.

Значит, позвали меня ради этого. Понятно. Я ненавидел разговоры про будущее, а уж тем более про «перспективы отношений». Разве, кроме Бога, кто-нибудь может разобраться в будущем? И вообще я очень устал. Вчера у меня был тяжелый день, закончившийся неясным вечером, который я решил забыть, а мне это не удается. День сегодняшний обещал быть не легче: вторая премьера как-никак. В эту самую минуту я встретил свою любимую женщину вовсе не для того, чтобы решать судьбоносные вопросы. Тем более, именно на судьбоносные вопросы я никогда не знаю ответов.

– Извини, что я сегодня заговорила об этом, – сказала Лиза тоном, в котором не было ни грамма вины. – Я все не решалась никак… Но вот… Это важно для меня, понимаешь?

У меня впереди – вторая премьера, которая, как известно, сложней первой. Артисты после премьеры всегда расслабляются, и потому второй спектакль нередко бывает неудачным. И не хочу я сегодня – про будущее да про перспективы… Не хочу! Причем тут вообще перспективы? Перспективы у любви всегда печальны, не живучая она особа, любовь, все норовит либо исчезнуть, либо превратиться в скуку, привычку, да во что угодно, лишь бы собой не быть! И что теперь делать? Отменить ее, любовь, в принципе и не пользоваться теми мгновениями настоящего, когда она приносит радость?

– Какого ты ждешь от меня ответа? – вздохнул я.

– Честного, – вздохнула Лиза, явно не веря в саму

возможность честного ответа.

Почему я решил говорить именно в ресторане? У нас уже есть проторенный путь в маленькую, уютную гостиницу. Можно было и там побеседовать. Может, эта тема там бы и не возникла. Но я отчего-то решил, что если разговор, то обязательно в ресторане. А я устал. У меня сегодня второй спектакль. И вообще…

Я попытался быть честным:

– Лизка, я ужасно устал, с одной стороны, а, с другой, очень волнуюсь. Понимаешь? Когда человек одновременно устал и волнуется – это шизофрения. А когда у человека шизофрения, он не может отвечать на судьбоносные вопросы.

Я попытался весело усмехнуться. Лиза попыталась поддержать мое веселье. Не получилось у обоих.

Лиза отложила в сторону вилку, хлебнула клубничного морса, облизала губы, ставшие ещё более красными, и заговорила – абсолютно спокойно, без эмоций, будто делала давно заготовленный доклад:

– Я очень тебя люблю, понимаешь? И я хочу, чтобы ты принадлежал мне весь, целиком…

– Но ведь ты мне целиком не принадлежишь, – я попытался ухватиться за спасительную соломинку.

Но Лиза, когда хотела, умела не слышать возражений:

– Я хочу спать с тобой не в гостинице, а в доме…

– У меня нет дома, в который я могу тебя привести, – еще одна соломинка.

Но и она не помогла.

– Купим. Это технический вопрос, – я не подозревал, что Лиза способна говорить так жестко. – Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Да, я знала, что ты женат, но я не представляла, что мне будет так тяжело делить тебя с другой женщиной… Я готова терпеть ради нашей любви. Но я хочу знать, сколько это будет длиться? Есть ли у наших отношений перспектива?

Никакого ответа: ни шутки, ни иронии, ни хамства, – ничего не рождалось в моей усталой голове. Кроме желания, чтобы этот разговор поскорее закончился, но какими словами выразить это желание, я не знал.

Я молчал.

Лиза, начав говорить, замолчать уже не могла:

– Я не хочу думать, что я для тебя – просто красивенькая игрушка. Я хочу думать, что ты сам размышлял над тем, куда мы идем по этой жизни. Скажи мне, что ты надумал.

– Мы идем в мир, – вздохнул я. – Представляешь, каждое утро мы встаем с кровати и идем в мир. Правда, здорово?

– А если не ёрничать?

По-моему, хорошая фраза: каждое утро мы встаем с кровати и идем в мир. Чего еще она от меня хочет? Я устал. У меня впереди – второй спектакль.

– Послушай, Лиза, для тебя новость, что у меня есть жена? Я, по-моему, никогда не скрывал этого.

– Как же ты не можешь понять! Одно дело – просто знать, и совсем иное – переживать! Я и подумать не могла, что это так больно!

Это было сыграно, причем, ужасно. Отчего это любая женщина убеждена, будто она хорошая актриса? У меня профессиональное неприятие фальшивой игры.

– Послушай, Лиза, ты правда меня любишь?

– Да. Очень.

– Ну, тогда ты реши для себя: ты меня любишь любого или только без жены?

– Знаешь, что! – она вскочила, изображая возмущение.

Я очень устал. У меня впереди – второй спектакль.

– Ты только истерики тут не устраивай. И нигде не устраивай. И вообще – сядь.

Лиза послушно села.

– Заглядывать в будущее я не умею, – продолжил я. – И не люблю. Потому что тот, кто хочет рассмешить Бога, – тот строит планы. Я живу здесь и сейчас. С женой я не живу. Ни в каком смысле. Ты это прекрасно знаешь…

– Это если тебе верить, – начала Лиза.

Но тут уже пришла моя очередь не позволить ей говорить эти бессмысленные бабские слова:

– Если ты меня любишь, значит, ты мне веришь. Я на самом деле не живу с женой: я с ней не сплю, почти не разговариваю, не ужинаю, не завтракаю, практически не встречаюсь и ничего не знаю про ее жизнь. Нас ничего не объединяет, кроме того, что мы ночуем под одной крышей и у нас есть сын.

– Это немало, – сказала Лиза.

– Это ничто, – сказал я. – Это такая беда, печаль, такой крест, если хочешь. Но он есть. Как бы тебе ни было неприятно, но у меня есть жена и сын. Семьи нет. А жена и сын присутствуют. Так бывает. И если эта моя телега тебе не нравится, значит, ты любишь не меня, а какого-то другого человека, которого сама же себе и придумала.

Лиза снова вскочила:

– Мне все понятно! Ничего не изменится! Эта херня так и будет продолжаться! Ну, и живи со своей телегой, пожалуйста! Ну, и кати ее туда, куда тебе надо! Ясно тебе? Ясно?

Лиза смотрела на меня, будто ожидая ответа.

Я молчал.

Люди за соседними столиками начали на нас оборачиваться, с каким-то непонятным восторгом наблюдая чужой скандал.

– Ты мне надоел со всей своей телегой, ясно тебе?

Лиза шарахнула об пол стакан с недопитым морсом, и выскочила из ресторана.

«Интересно, – подумал я. – Сколько стоит стакан? Я никогда не оплачивал стаканы в ресторане…»

Перед спектаклем я хотел войти в зал и поглядеть – пришла ли? Пропуск на ее фамилию я оставил у администратора, и мне не представляло никакого труда узнать, на какое место ее посадили. Но я не стал этого делать, потому что не знал, чего бояться больше: увидеть ее в зале или не увидеть.

Не увидеть – означало, что это не просто ссора, а конец нашего романа. А если она пришла, что мне тогда делать?

Спектакль я помню плохо. Я смотрел на сцену, но ничего не видел: меня увлекало другое. Конечно, это непрофессионально, ужасно и прочие ля-ля. Но что поделать, если это так? Когда эмоции захватывают человека в плен, никакой разум их победить не может.

Я все время пытался убедить себя в том, что с Лизой все кончено. Хорошие такие слова сам себе говорил, правильные. Только не верил в них абсолютно. Проверял телефон: нет ли смски? Смска не приходила. Уговаривал себя: не прощу Лизе, если она не придет на мой спектакль: она пришлет смску – не отвечу, позвонит – тоже не отвечу, придет к театру – не отвечу, не отвечу, не отвечу! Не верил этому. Смотрел телефон: нет ли смски? Смска не приходила. Убеждал себя, что ненавижу ее, что прекрасно без нее обойдусь – мало ли таких? Много таких! И вообще человек, который устроил разборки с режиссером за два часа до спектакля – эгоист, а женщина–эгоист, это еще хуже, чем женщина–блядь, потому что блядство у них в крови, а эгоизм выделяет наиболее противных из них. И не верил сам себе. И смотрел на телефон. Смска не приходила.

Так прошел весь спектакль вместе с антрактом.

А потом я уснул в чьей-то гримерке и проснулся от криков «Браво!» и «Позор!», которые услышал по трансляции.

Заспанный, я вылетел на сцену, и в меня полетели помидоры. Третий помидор попал. Охрана, убедившись, что в меня попали – бросилась скручивать хулигана. Вспышки фотоаппаратов свидетельствовали, что фотографы все это фиксировали. Счастливый Вася показывал из-за кулис большой палец.

После спектакля опять был банкет, и ко мне опять подошел тот же самый критик с рюмкой водкой. Не ожидая, пока он

рыгнет, я сам начал разговор первым:

– Я в курсе, что вы мне больше не подадите руки.

– Почему же? – удивился критик. – Сегодня все было как-то по-другому. А в этой трактовке, знаете ли, что-то есть. И эта реакция зала… Такая живая реакция на Чехова. И актриса, играющая Раневскую, очень недурна… Играет недурно… Не хочется, видите ли, прослыть ретроградом. Надо подумать…

– И посоветоваться с товарищами, – бросил я, и, не дожидаясь ответа, побежал отвечать на вопрос очередной телевизионной девочки: «Почему Чехов так актуален сегодня?»

И тут пикнул телефон: смска.

«Ты гений! Прикольный спектакль! Мне понравилось. Поздравляю! Целую».

Целует она, видите ли… Подойти – не подошла, а так – нате вам – целует меня… Мм-мм… И, главное, ни слова о нашей ссоре! Ни словечка. Лучше бы она сердилась или извинялась, а так – как? Словно и не ругались… Словно всё в порядке между нами! А чего ж я нервничал до такой степени, что спектакль не мог смотреть? Зря, что ли? А она-то, конечно, не волновалась, у нее – ничего не произошло. Мм-мм… Ну, как же она так ловко умеет исчезать из моей жизни, чтобы оставаться в моей памяти, в моем сердце, и, главное, в нервах моих? Почему она руководит нашими отношениями и моим настроением? Она, а не я? Почему она сумела меня победить? Она, а не я?

И, главное, сколько тут ни мучайся, ни страдай, все так и будет продолжаться. Да, ровно и именно так. Я – человек, который умеет по-своему поставить Чехова; человек, который мечтает по-своему поставить Шекспира; я не умею по-своему поставить собственную жизнь, потому что, сколько я – многоопытный, седой человек ни стараюсь поставить свою собственную жизнь, она всё равно падает. А Лиза ее подхватывает, причем, именно в тот момент, когда хочет, и ставит мою жизнь ровно так, как ей, Лизе, нравится. Лиза – постановщик моей жизни, и этот отвратительный, по сути, факт надо признать.

И дальше, понятно, все продолжалось неправильно, не так, как мне нравилось, но – так, именно так оно всё и тянулось. Мы всё время ссорились по дурацким поводам, я обижался, и тогда, как пацан какой-нибудь, не звонил из принципа, убеждал себя, что Лиза мне надоела, что не нужна она мне, но при этом как бы случайно смотрел на экран телефона, и бросался открывать пришедшую смску, и с трудом сдерживал желание швырнуть телефон, увидев, что смска – рекламная. Но однажды Лиза звонила мне как ни в чем не бывало и сообщала, что соскучилась.

Нет, не просто радость или восторг испытывал я в этот момент. Ее голос приводил мою жизнь в норму, холодный нервный огонь, горевший у меня в груди, сразу угасал, я ощущал тепло, жизнь снова становилась осмысленной и понятной. У меня даже не хватало сил или гордости – не знаю, честно говоря, как называется то, чего у меня не хватало – чтобы хотя бы изобразить безразличие. Потом мы ехали в гостиницу, и там уже происходило подлинное примирение. Если секс мирит людей, значит, у них все в порядке, а если не мирит, значит, им надо расходиться, ничего путного у них не получится все равно, потому что секс – это тест, и как бы ни было нам, высокодуховным, противно от этого вывода, – он всё равно правильный.

А если она не звонила слишком долго и я уставал от непонятности и бессмысленности жизни, и от этого холодного огня внутри, тогда я звонил сам, придумав какой-нибудь дурацкий повод. И Лиза всегда радовалась мне, и говорила что-нибудь «про соскучилась», и мы ехали в гостиницу мириться, и я все никак не мог понять: зачем же я мучился, откладывая этот звонок…

Потом мы опять ссорились, я снова обижался, начинал страдать, но не как серьезный взрослый мужчина, а как четырнадцатилетний пацан. Можно было, конечно, привычно оправдываться перед собой тем, что любой влюбленный – мальчишка, но вот конкретно это мальчишество с ожиданием звонка было каким-то совсем уж нелепым, глупым, не возвышенным и не романтичным…

Этот бесконечный контрастный душ любви утомлял невероятно, но, как ни странно, приносил и радость, ощущение живой жизни, не усталости, не старости. Главное было не думать про то, сколько всё это может продолжаться и куда это всё выведет. Не думать! Не думать! Не думать! Бог Мой, ведь любовь – это чувство, к чему же тогда лишние мысли? И вообще, если есть чувства, тогда любые мысли – лишние. Тем более что Лиза больше не заводила песню про перспективы нашей жизни.

Но она все время ездила на гастроли и конкурсы, и, когда звонила мне оттуда, я слышал бесконечные мужские голоса рядом с ней и устраивал ей истерики, и вешал трубку, и гипнотизировал телефон, чтобы он выдал смску… Лиза возвращалась и звонила мне… И мы ехали… И это было прекрасно… И мы мирились… И не было этому конца.

Однажды, когда после очередной ссоры, мы лежали с ней в очередной гостинице, Лиза задала два вопроса.

Первый был неприятный:

– Послушай, ну, когда ты уже, наконец, снимешь квартиру? Это будет наш первый дом. Я тебе там все уютно сделаю. У нас будет свое гнездышко. Хорошо же ведь, правда?

– Хорошо, – буркнул я: когда я лежал рядом с Лизой, мне не хотелось ругаться. – Обязательно.

Второй вопрос оказался неожиданным:

– Поехали со мной в Прагу?

Я посмотрел на Лизу удивленно.

Она улыбнулась:

– Тебе не нравится моя идея? У меня гастроли с тем самым органистом, помнишь? Ну, когда ты со мной решился познакомиться, мы вместе с ним ваяли… Вспомнил? Ну вот. А теперь мы вместе с ним едем выступать в разных храмах. Говорят, в Праге церквей, как у нас – торговых центров. Ты был в Праге?

Я не смог сразу вспомнить, был ли я в Праге, но на всякий случай отрицательно покачал головой.

– Здорово! – обрадовалась Лиза. – Мы вместе откроем город, который называют самым красивым в Европе.

Это было очень неожиданно, я не знал, как реагировать. Хотя, почему – нет? Главное: репетировать в театре не надо и делать, в общем, нечего. Правда, Ирина…

– Наври что-нибудь жене, – Лиза словно услышала мои мысли. – У тебя получится. – Она повернулась ко мне и посмотрела тем серьезным, абсолютно лишенным иронии и лукавства взглядом, на который влюбленные женщины решаются крайне редко и только тогда, когда хотят сказать что-то очень для них важное. – Неужели тебе не хочется пожить со мной несколько дней? Неужели тебе не хочется засыпать вместе со мной и просыпаться? Неужели тебе не хочется каждое утро точно знать, что мы целый день будем вместе?

И я понял, что, если мне чего-то и хочется в жизни, то именно и как раз этого.

x x x

Правду говорить легко и приятно, – утверждал один известный персонаж. Приятные слова, возвышающие человечество. Ах, уж это человечество, которое так любит принижать самого себя поступками, но зато возвышать словами!

Правду говорить легко и приятно… Ага! Конечно… Смотря какую правду, когда, кому и при каких, извините, обстоятельствах. А вы попробуйте – поставить спектакль, ни разу не соврав артисту, что он – самый гениальный. А вы попробуйте –

завоевать любовь девушки, ни разу не соврав ей что-нибудь про ее тело, душу и ум, врать про который бывает особенно нелегко.

Правду говорить легко и приятно… Как бы не так! Если говорить честно, сынок, то что такое воспитание, как не череда правильно подобранного вранья? Как часто я говорил тебе, что надо делать так-то и так-то, требовал даже, прекрасно понимая, что, делая так-то и так-то, прожить невозможно.

Правду говорить легко и приятно… Красивые, но глупые, а потому бессмысленные слова. Я пишу тебе правду – про свою жизнь, про свои метания, про свои измены твоей маме, наконец. Представляешь, если этот мой текст прочтет кто-нибудь другой? Он наверняка воскликнет: как можно! это безнравственно! такое писать сыну! чему вы его учите! ля-ля-ля! А ведь я говорю тебе правду.

Если бы человечество ради собственного возвышения не устраивало культ правды, а более терпимо относилось ко лжи – может, оно и жило б получше? Сколько людей стали несчастны, перестали понимать суть и смысл жизни, да и просто умерли, только потому, что кто-то решил, будто имеет право сказать им правду про них самих? И сколько обрело крылья, сумели взлететь над этой жизнью только потому, что кто-то вовремя сказал им возвышающую их ложь?

Я успокаивал себя этими размышлениями? Или я так думал на самом деле? Кто знает разницу, если она даже мне до конца не известна? Но представляешь, если бы я сказал маме правду про то, зачем я еду в Прагу? Вряд ли говорить ее мне было бы легко и приятно, да и мама, согласись, не обрадовалась бы.

Я сказал маме, что еду на театральную конференцию в Прагу.

– Надолго? – спросила она.

– На неделю.

Я был готов к скандалу. Я был совершенно расположен к тому, что мама не поверит, начнутся расспросы, меня станут прижимать к стенке, а я – выкручиваться.

Но Ира только и произнесла:

– Хорошо, – потом помолчала немного и добавила. – Ты выложи вещи, которые мне надо положить в чемодан, я соберу.

Если бы Ира ругалась, кричала, выясняла отношения, было бы легче, конечно, потому что – понятней. Когда понятно, – тогда нет проблем. Тяжесть – она ведь в отношениях только тогда появляется, когда ты в них разобраться не можешь.

Ну, почему, почему никак у меня не выходит оторваться от человека, вместе с которым прожил пятнадцать лет? Понимаю ведь, что мы уже никогда не будем вместе, а отрезать – не выходит. Отчего? Близкие чужие люди… Красиво сказано,

конечно, только ведь что-то должно на этих весах перевесить: то ли – близкие, то ли – чужие. И я даже точно знаю, что именно перевесит, только чего ж оно не перевешивает-то никак?

Что меня связывает с Ирой? Жизнь. Опять же: красиво сказано. Но непонятно. Чем именно связывает людей жизнь? Что это за веревки такие? Или, может быть, проволока с острыми шипами? Наручники? А, может быть, клейкий противный скотч, который отдирается только с кожей? Нет, ну, правда, чем нас с твоей мамой сковывает жизнь? Общими воспоминаниями? Общими привычками? Абсолютным пониманием друг друга – ясностью без слов, даже без жестов? А помнишь, я говорил тебе, сынок, что любовь – это обмен душами? Может быть, все просто: когда люди меняются душами, они уже не могут расстаться?

Я все время пытаюсь забыть про тот наш с мамой ночной разговор после премьеры, а вот интересно: Ира о нем вспоминает? И что вообще эти наши ночные посиделки значили для нее, если, конечно, вообще что-нибудь значили?

Впервые за долгое время я смотрел на твою маму, стараясь понять: а каково сейчас ей? Она начала новую жизнь или купается в воспоминаниях о старой? Как она живет – в страданиях или в радости? Она сумела избавиться от своей болезни или с трудом, но сдерживает ее атаки? Странно и удивительно, но уже несколько лет я совершенно не думал об этом. Что ж это за жизнь такая хитрая, если она умудряется связывать двух людей, которые вовсе не думают друг о друге?

Или Ира обо мне думает? Что это за жизнь такая хитрая, если она умудряется связывать и не отпускать друг от друга двух людей, один из которых – или оба? – вообще не думает о другом? Воспоминания, понимание, прошлое – что угодно связывает двух людей, но не мысли друг о друге. Как такое может быть…

Я так внимательно смотрел на Иру, когда она жарила на кухне мои любимые котлеты, что она обернулась и спросила удивленно:

– Ты чего?

Тысячу ответов пронеслось в голове: от – «любуюсь», до – «всё в порядке, отстань». Но после любого из этих ответов должна была начаться какая-то жизнь, а я не знал, какой бы мне хотелось видеть мою домашнюю жизнь. Я словно смотрел на нее в перевернутый бинокль: вроде, близко, а кажется, что далеко.

Я промолчал.

Ира улыбнулась – то ли мне, то ли – каким-то своим мыслям:

– Я тебе даже завидую, что ты в Прагу едешь. Правда. Говорят, это самый красивый город Европы. Даже красивей, чем Вена.

Мне стало страшно и противно. Да, одновременно: и страшно, и противно. Я буркнул, что мне надо готовиться к выступлению на конференции… Боже мой, ведь, когда я приеду, придется еще что-нибудь врать и про конференцию и про то, как я на ней выступал… И отправился в свой кабинет.

Тут же, конечно, пришла смска от Лизы: «Умираю, как жду поездки. Мечтаю пройти с тобой в обнимку по Праге, и выпить кофе в маленьком кафе».

Я написал в ответ что-то романтическое, а потом сидел за столом и думал только о том, что надо бы уже купить кушетку, потому что тупо лежать все-таки приятней, чем тупо сидеть. И больше ни о чем не думал. Изо всех сил своих старался больше не думать ни о чем.

Ира позвала есть котлеты.

Котлеты, как всегда, были восхитительны. Только твоя мама умеет жарить котлеты так, чтобы сверху они были поджаристые, а внутри – воздушные.

Ели мы молча.

Я подумал зачем-то: «Интересно, умеет ли Лиза готовить? Хотя это не имеет ровно никакого значения. Или имеет?»

Я ел Ирины котлеты, а пытался представить себе, как мы живем с Лизой. Хотел нафантазировать картинку нашей будущей жизни, разглядеть там, в будущем, чего-нибудь. Но ничего не фантазировалось почему-то, ничего там, в будущем, видно не было.

– Восхитительные котлеты! – сообщил я.

– Спасибо, – сообщила Ира.

– Так никто не умеет делать котлеты, как ты, – сообщил я.

– Ты проводил кастинг котлет? – спросила Ира без улыбки.

И опять у меня в голове возникла тысяча ответов: от – «да, и ты победила за явным преимуществом», до – «не говори глупостей». И снова я не знал: какую жизнь я хотел бы увидеть продолжением этих ответов, и снова я промолчал. Впрочем, было совершенно очевидно, что мама в моих ответах и не нуждается.

Нет, надо быстрее ехать в Прагу, необходимо оторваться от этой жизни, побыть с Лизой наедине, получить, черт возьми, удовольствие от жизни, забыв про стыд, неловкость и прочую ерунду. Поехать – и получить удовольствие! И всё! Я поставил спектакль, про который твоя мама сказала, что он – лучший в моей жизни. Я поставил Чехова так, что билеты раскуплены на два месяца вперед. Ну, разве я не заслужил простого бездумного удовольствия? Надо научиться получать от жизни радость. Не рефлексировать бесконечно, не размышлять, не мучиться непонятно над чем, а получать нормальное наслаждение: от

женщины, от вина, от прогулок по незнакомому прекрасному городу. От всего того, что называется: просто жизнь. Не сложно – жизнь, а просто.

– Спокойной ночи, – сообщила Ира.

И я поймал себя на том, что с трудом сдерживаюсь, чтобы не поцеловать ее на ночь.

Но сдержался.

x x x

Лиза вела себя как жена. Причем не просто как жена, но как идеальная супруга. Она бесконечно спрашивала меня, как я себя чувствую, подкладывала мне еду за завтраком, просила меня не есть на ночь жирное, и ночью, *после,* шептала мне на ухо: «Вот так мы можем жить всегда. Понимаешь меня? Всегда».

Прага оказалась действительно очень красивым, но каким-то игрушечным городом: его дома, храмы, площади, мосты и даже река, разрезающая город, были словно собраны из детского конструктора. Земным и настоящим Прагу делали толпы людей, которые носились с выпученными глазами туда-сюда. Но поздним вечером, когда толпа спадала, рождалось ощущение, будто мы находимся в сказочном, волшебном мире.

Мы шли по набережной после концерта. Это было очень красиво, очень романтично, но чрезвычайно банально. Ночной, волшебный городской пейзаж прямо-таки был создан для романтических отношений, и от этого становилось скучно. И в жизни, и на сцене я люблю контрапункты, я уверен: слова о любви лучше звучат рядом с навозной кучей, чем в парфюмерной лавке. Но Лизе, похоже, нравилось, когда луна отражается в реке, и – сказочные домики, и – мало людей, и – полумрак набережной… Она прижималась ко мне, останавливалась и начинала целоваться – терпеть не могу целоваться посреди улицы! – и непременно шептала какие-то красивые слова, из тех, которые близкие люди друг другу не говорят. Их произносят только те, кто очень старается выглядеть близкими.

Говорить не хотелось. Но целоваться и выслушивать банальные слова не хотелось еще больше.

И тогда я сказал:

– Ты не замечала, что любой пейзаж – городской ли, сельский, или морской – портят люди? Нет на земле такого места, которое становилось бы красивей от того, что на него пришел человек. Слушай, а, может, мы, действительно, пришельцы на этой Земле, если нет здесь ни одного пейзажа, который бы

человек мог улучшить своим присутствием?

Мне хотелось поговорить о чем-то абстрактно-интересном. Не удалось.

– Гениально! – воскликнула Лиза. – Ты все-таки потрясающе умный!

И она повисла у меня на шее. Ей было совершенно не интересно то, что я говорил, и пришлось сделать невероятное усилие, чтобы не отбросить Лизу, а ласково поставить на тротуар.

Сын мой! Если все-таки ты дочитал до этих слов, то хочу дать тебе один совет… Будем считать: в качестве награды… Я прекрасно понимаю: люди твоего возраста терпеть не могут советов, но этот действительно полезный и, главное, практичный. Так вот, если вдруг в твоей жизни возникнет серьезная, настоящая любовь – ты просто обязан уехать с ней куда-нибудь, где вы сможете остаться наедине, хотя бы на неделю. (Если у тебя не будет денег на это дело, я тебе всегда дам.) Потому что только в поездке, только, когда вы останетесь наедине, ты сможешь понять: раздражает тебя предмет твоей страсти или нет.

Лиза обладала серьезным оружием: заставлять меня думать о ней, когда ее рядом нет. Но в Праге выяснилось, что существовать вместе, сосуществовать она не умеет. Не было у нее оружия для совместного проживания, понимаешь? Она могла раздражать, тревожить, возбуждать, – это да. Но она совершенно не умела чувствовать и понимать.

Когда проходит «предлюбье», когда заканчивается безумная страсть начала любви – тогда должно родиться понимание. Скажу тебе честно: в разговоры про то, что люди «притираются» друг к другу, я не верю. Понимание – так же, как любовь – либо рождается, либо нет, построить его невозможно.

А знаешь, сынок, что такое это самое понимание? Это, когда ты обнимаешь женщину ровно в то мгновение, когда она захотела к тебе прижаться и когда она молчит именно тогда, когда тебе не хочется с ней разговаривать. А когда ты обнимаешь ее в ту секунду, когда она решила идти быстрей, или она задает тебе вопрос в тот самый момент, когда ты думаешь о чем-то важном – тогда рождается раздражение, которое поглощает любовь, и секс превращается в борьбу с простатитом.

По-настоящему я был счастлив с ней только в те минуты, когда Лиза пела. Ее концерты с органом проходили в одном и том же храме, да и репертуар почти не менялся, и Лиза каждый вечер уговаривала меня: «Да не ходи ты, сколько можно! Пойди погуляй, город какой красивый! Чего опять в этом душном храме сидеть?» Лизе, наверное, казалось, что таким образом она проявляет ко мне внимание, она не понимала (а, что самое

досадное, не чувствовала), как раздражают меня эти пустые вежливые слова, столь не уместные между близкими людьми.

Но как только Лиза начинала петь – раздражение исчезало: начиналось чудо. Торжественное и одновременно святое величие Храма, орган, огромные свечи, ангельское пение той, кого ты обнимаешь каждую ночь, твоя душа, уносящаяся в поднебесье… В эти мгновения я снова любил Лизу так, как, мне казалось, я никогда и никого на свете не любил.

Я встречал ее у выхода, и несколько минут мне казалось, что ко мне слетал Ангел.

Потом этот ангел говорил:

– Ну, как? Тебе не душно было?

Причем тут это? – хотелось крикнуть мне. Причем тут вообще я, духота и прочие детали? Если ты – ангел, то для чего ты все время задаешь нелепые вопросы про скучный земной мир? Зачем ты говоришь бессмысленные слова, лишь для того, чтобы продемонстрировать мне свою заботу? Я ведь только что сходил с ума от твоего пения, давай помолчим! То, что ты делала в Храме, несравнимо ни с твоими словами, ни с тобой самой, нелепо бросающейся ко мне на шею посреди редеющей вечерней толпы. Если мы совсем не научены обращаться с чудом – давай хотя бы тишиной попробуем продлить его!

Я не понимал, что со мной происходит, почему у меня не выходит получать нормальное удовольствие, которое просто обязано рождаться в душе мужчины, когда он с любимой женщиной приезжает в такой красивый город. Словно Чеховский персонаж, я зачем-то рефлексировал там, где надо просто жить, хватая от жизни дни радости. Кстати, мой любимый, мой таинственный Чехов призывал выдавливать из себя раба. Я как мог выдавливал из себя раздражение.

Я пил знаменитое чешское пиво в надежде, что оно подарит мне веселье, но после выпитого становилось совсем грустно. К тому же начинал болеть живот, предательски напоминая о моих совсем не юных годах. Впервые в жизни я попробовал выпить клубничного пива, но от одной мысли: неужели у меня не осталось иных способов развеселиться, кроме клубничного пива? – стало так глубоко печально, что я чуть не разрыдался. Да и живот опять же… Я пытался сам целовать Лизу посреди толпы, но почему-то всегда делал это не вовремя. Лиза злилась, я раздражался и вскоре бросил эти нелепые попытки проявления страсти.

На широченном, словно подмосковное шоссе, мосту продавались украшения. Я попробовал поднять себе настроение, купив Лизе что-нибудь невероятное. В результате мы поругались,

потому что мне понравились сережки, ей – браслет.

– Давай, купим и то и другое, – предложил я.

– Неужели ты не видишь, что они не сочетаются? – прошипела Лиза.

Я не видел. Но промолчал. Купили браслет.

Я подумал, что, когда завтра Лиза пойдет готовиться к концерту, я прибегу сюда и куплю эти сережки маме. Так и сделал. Маме, по-моему, понравилось.

Однажды, когда мы уже в который раз брели по одной и той же надоевшей улице к гостинице и молчали (причем не вместе, а каждый абсолютно сам по себе), я подумал, вроде бы, некстати: хорошо, что я одолжил Марине денег – будет повод повстречаться… Хотя причем тут Марина? Причем она именно тут? Ни при чем совсем… Хотя всяко бывает… Если проблема простатита вдруг опять встанет, например… Или просто заскучается…

Это была неприятная мысль, словно заблудившаяся и забредшая ко мне в голову случайно из какой-то иной, нездешней жизни. Мысль эта так мне не понравилась, что я обнял Лизу, немного опасаясь, что снова сделаю это некстати.

Но Лиза прижалась ко мне. Некоторое время мы снова шли, молча, а потом Лиза остановилась, посмотрела на меня снизу вверх и произнесла совершенно спокойно, почти без эмоций:

– Жаль, что мы скоро расстанемся, правда? Согласись: мы были бы чудесной парой. А еще я так мечтала, чтобы ты поставил на меня «Человеческий голос»… Есть такая опера на одну певицу. Ее Пуленк написал по пьесе какого-то француза…

– Жана Кокто, – механически бросил я, думая совершенно о другом.

– Видишь, какой ты умный, – сказала Лиза печально. – Там замечательная музыка, и я бы здорово спела. Только я хочу, чтобы это было не концертное исполнение, а действительно опера. Опера для одной певицы. – Она замолчала, еще сильнее прижавшись ко мне, а потом произнесла совершенно спокойно, даже как будто без печали. – А теперь вот мы расстанемся.

Я даже не спросил у Лизы: а почему мы, собственно говоря, должны расстаться? То, что она говорила, являлось такой очевидной правдой, что вопрос прозвучал бы нелепо и неискренне. Удивительно все-таки устроены женщины: даже, когда женщина совершенно не ощущает живущего рядом с ней мужчину, она все равно чувствует, когда они должны расстаться.

И мы пошли. И я почему-то подумал, что мне совершенно не хочется стареть рядом с Лизой. Я даже не мог себе представить: как же это можно стареть рядом с ней? Зачем я думал об этом

посреди игрушечного города вместо того, чтобы удовольствие получать? Глупость какая-то…

В свое время я хотел поставить на сцене какой-нибудь современный роман про любовь, чистую мелодраму – как говорится, с приметами сегодняшнего дня. Я перерыл кучу романов, от нескольких книг получил удовольствие, но, увы, эти произведения трудно было перенести на сцену. Однако вот что меня поразило: в большинстве книг о любви не было правды любви. Писатели все как-то больше озабочивались поисками правды жизни, забывая, что у любви – правда своя.

Так вот в этих книгах любовь заканчивалась, когда происходило некое событие: кто-нибудь кому-нибудь изменял, кто-нибудь внезапно разорялся или богател, кто-нибудь встречал кого-нибудь из своей прошлой жизни или внезапно погибал. Все это, на мой взгляд, не более чем сюжетные оправдания, которые прикидываются правдой жизни. Любовь умирает только в одном случае: когда ты понимаешь, что не хочешь стареть рядом с этим человеком. Все. Точка.

Не хочешь сидеть с ней в тени на лавочке; и чтобы она закутывала твое горло шарфом, и чтобы она совала тебе в рот бессмысленные таблетки, и ты чтобы ругался; и чтобы вы вместе смотрели на снующих туда-сюда мимо лавочки людей и думали при этом об одном и том же; и чтобы утром, с трудом разлепляя глаза и удивляясь тому, что ты по-прежнему жив, – ты бы радовался, что она рядом… Ты, главное, скажи себе честно: я, мол, всего этого не хочу. Трахаться с ней хочу, гулять, водку пить, о своих планах рассказывать, на машине ее возить, кормить обедом, даже спектакли с ней ставить – это всё пожалуйста. А стареть рядом не хочу.

Как и почему возникает это самое «не хочу», не имеет ровным счетом никакого значения. Вот ты – старичок, вот она – старушка: видишь эту картинку? Нет? Не видишь? Всё! Борись с простатитом, шути, улыбайся, выдавливай из себя по капле раздражение – делай все то, что делается как бы само собой, по инерции. Если не хочешь стареть рядом с этой женщиной, – значит, любви нет. То, что есть, – оно вообще, может быть, очень хорошее, оно удовольствия всякие доставляет… Не вопрос. Только вот любви нет, и, значит, ты снова стал мужчиной, который *не исключает*.

Запомни, сынок: лишь та женщина, рядом с которой ты захочешь стареть, может избавить тебя от одиночества. Остальными ты можешь пренебрегать или не пренебрегать – это значения не имеет, но от одиночества тебя спасает только такая.

Наконец, мы с Лизой пришли в гостиницу. Молча. И вместе

пошли в душ. Молча. И все, что творилось потом – сначала в душе, а потом на огромной гостиничной кровати, происходило без единого слова. После чего я мгновенно уснул, даже не поцеловав Лизу. Правда, очень скоро проснулся от ее плача. Она старалась плакать тихо, не слышно, и от того получалось еще более жалостливо. «Как же она будет спать на мокрой подушке?» – некстати подумал я и как бы во сне отвернулся к стенке.

В самолете Лиза спросила:

– А ты спектакль со мной поставишь? Ну? «Человеческий голос»? Мы его под фонограмму сделаем, и тогда можно будет ездить. Сейчас народ все больше к классической музыке тянется, знаешь об этом? Так что – сделаешь?

Мы продолжали общаться, встречаться в гостиницах, я пару раз ходил на Лизины концерты и дарил ей букеты цветов. Она по-прежнему звонила мне с гастролей, но меня уже почему-то не раздражали мужские голоса рядом. Мы вообще перестали ссориться, когда закончилась наша любовь.

Нет, черт подери, все-таки не события заканчивают любовь – бывает, скажем, что жена узнает об измене мужа, но продолжает его любить едва ли не больше, а понимание того, что ты с этим человеком на лавочке в кашне сидеть не хочешь. И никогда не понять: откуда это понимание берется. Никогда. Писатели убедили нас в том, что любой поступок человека можно познать, а любые нюансы человеческой души разглядеть. Писатели только и делают, что познают поступки и разглядывают нюансы. Но ведь только Бог все знает и понимает про человека. А разве мы – боги?..

Кстати, оперу Пуленка «Человеческий голос» с Лизой я поставил. За несколько репетиций. Как я и обещал, получился не концерт, а спектакль, хотя это было нелегко.

«Человеческий голос» – это разговор женщины по телефону. И чего? Это тебе не Чехов и не Шекспир – особо-то не разгонишься. Но мы вместе с художником придумали особую систему зеркал, в некоторых из них она отражалась, в некоторых – нет, а в иных вдруг возникала и исчезала фигура мужчины. Получалось красиво. Говорят, на премьере Лиза имела большой успех.

Я на премьеру не пришел. По-моему, какие-то дела были в театре… Или дома?.. Не важно. Все это не имеет никакого отношения к делу.

Отношение к делу имеет та самая вертикальная женская спина, увидев которую я почему-то понял, что жизнь моя сейчас поменяется резко, и, что самое страшное, но и самое манящее: безвозвратно. Опять же осознать, откуда приходит это понимание

– невозможно. Но оно приходит – наглое и однозначное, как дождь.

Меня всегда удивляют люди, которые любят говорить: я даже не заметил, как мы полюбили друг друга. Вообще-то любовь – довольно заметная барышня, видная – как же ее не разглядеть? Оно, конечно, даже когда приходит землетрясение, можно делать вид, что ты его не замечаешь… Только зачем, если все равно трясет?

Ты можешь считать меня романтическим идиотом, но как только я увидел эту спину и беспомощную длинную шею, я понял, что жизнь моя делает резкий поворот. Не понятно, правда, куда именно: может быть, назад; может, к самому себе; а возможно, чуть вбок, чтобы потом помчаться вперед с невероятной скоростью – это все не важно. Важно, что – поворот.

Я тогда еще не знал, что эту девушку зовут Алина. Я не ведал, как она выглядит. Чем занимается. Как разговаривает. Есть ли у нее семья. Я вообще ничего не знал про нее, кроме самого главного: она войдет в мою жизнь и расположится в ней хозяйкой.

Ну что, ты уже, наконец, назвал меня «романтическим идиотом»?

Иногда мне кажется, что до появления Алины у меня было не две женщины, а гораздо больше. Но все они почему-то объединились и назвались: Лиза и Марина. (Кстати, Марина мне деньги так и не вернула, и, видимо, не вернет никогда. Ну и ладно!)

С тех пор, как появилась Алина, у меня путаются лица, голоса, походки других женщин. Понимаешь? Мне иногда кажется, что событие случилось с этой в Праге, а на самом деле все происходило с той, в Питере. И я понимаю, почему я именно так вспоминаю. Просто все эти женщины были или такие, или сякие, а эдаких не было… И мне уже начало казаться, что только такие и только сякие и бывают, а эдакие не рождаются никогда, а если и рождаются, то где-то очень-очень далеко от меня.

А коли так, то какая разница, сколько их было? Двадцать восемь, как героев-панфиловцев, трое, как героинь Чехова, или триста, как спартанцев? Я встречал женщину и понимал: это Марина или это Лиза. Вот и всё. В сущности, их все равно было две. Блок (был такой поэт) говорил: у меня было две женщины: Люба (это его жена, дочь великого химика Менделеева) и все остальные. У меня была Ира и еще двое.

Ты понимаешь меня, сын? Черт возьми, ну, почему мне так важно, чтобы ты меня понимал? Хотя я прекрасно отдаю себе отчет в том, что ты не только вряд ли поймешь, ты и вряд ли

дочитаешь то, что я тут написал… Ну, разве что – когда-нибудь потом.

А может, я вообще все это придумал для красоты рассказа? Может, их на самом деле было две? Какая разница! Разница начинается, когда появляется эдакая.

Вот, когда появляется эдакая, ты понимаешь, что весь твой опыт, да и вся твоя жизнь – не значат, в сущности, ничего. Нет у тебя больше ни опыта, ни жизни. Нечто совсем новое, неизвестное, пугающее и манящее именно своей неведомостью, начинается сейчас, с этого самого момента, когда ты видишь в театральном коридоре длинную спину.

И где-то в самом уголочке твоего сознания стучит робкая, но такая радостная мысль: «А может быть, закончилась моя полоса безлюбья? Сколько ж можно только на безлюбье жизнь свою строить? Вдруг в ней, в новой моей жизни, в жизни после поворота, появится какой-то иной стержень?»

Ведь может быть такое, а?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Я подумал: если брошусь догонять ее, обязательно начну задыхаться, а мне совершенно не хотелось, чтобы она увидела меня задыхающимся.

Она дошла до конца коридора и начала спускаться по лестнице… Не бежать же по ступенькам? Даже и пробовать не стоит – знаю, чем закончится: я обязательно поскользнусь, некрасиво упаду, проеду на попе пару ступенек, она кинется мне помогать… В общем, кошмар.

Я крикнул сверху:

– Добрый день!

Она обернулась.

Она смотрела на меня снизу вверх и чуть-чуть улыбалась.

Вот встречаются мужчина и женщина…

О, великий русский язык, который умеет просто и ненавязчиво (не как отцы – детям, а как деды – внукам) объяснять самое главное и необходимое.

Встречают-ся мужчина и женщина… Люди *встречают-ся, знакомят-ся, влюбляют-ся*? Как это называется? Если не ошибаюсь – возвратная форма глагола. Возвратная к самому себе – вот в чем дело. Люди встречаются, когда встречают такого, как они сами. Влюбляются, когда находят такого, как они сами. Подлинная встреча, когда сталкиваешься с таким, как ты. Подлинная любовь, когда влюбляешься в такого, как ты. Любое настоящее общение, настоящая любовь, настоящая дружба – это возвращение к самому себе. Вот и всё.

К чему это я? Так просто… Не об этом, не об этом…

Когда мужчина и женщина впервые *встречаются* – они смотрят друг на друга по-разному. Мужчина оценивает женщину. Но и женщина оценивает себя: через зеркало мужских глаз, пытаясь понять: произвела ли она впечатление…

Она так и смотрела: на себя через меня, пока я ее изучал.

Большие черные глаза глядели чуть удивленно. Хорошо. Высокая, худая. Мне нравится. У женщин с такой фигурой грудь всегда кажется большой. Волосы, пожалуй, слишком короткие: не люблю. Ну, ничего, я уверен, что мне не придется долго ее уговаривать отрастить длинные.

Почему я был абсолютно убежден, что с этой женщиной, которую вижу впервые в жизни, у нас есть будущее? Я тебе так скажу, сынок: любовь сильнее жизни и наглее; если хочешь – бесцеремоннее. Когда любовь приходит, жизнь и не пытается ей сопротивляться, а просто открывает дверь и терпеливо ждет, пока

человек свыкнется с мыслью: к нему пришла любовь.

– Добрый день! – крикнул я.

– Здравствуйте, я вас ищу, – улыбнулась она.

И я сразу подумал, что это очень хорошая фраза для начала любовной истории: «Здравствуйте, я вас ищу». Точнее и не скажешь.

Мне хотелось крикнуть какую-нибудь глупость, вроде:

– Вы меня искали?! Как здорово, что мы нашлись!

Но вместо этого я спросил сухо, как и подобает руководителю театра:

– Зачем?

Она ответила серьезно, как и подобает журналисту:

– Я пишу статью об интерпретации классики в современном театре, хочу взять у вас интервью. Меня зовут Алина…

Она назвала фамилию, которая мне ни о чем не говорила. Алина настолько мне понравилась, причем сразу, что даже ее профессия журналиста-критика не смогла испортить первого впечатления.

– Вы видели мой «Вишневый сад»? – я изо всех сил старался оставаться в маске строгого худрука.

– Да.

– И как вам?

Она улыбнулась:

– Вы представляете, я сейчас скажу: «Не понравилось»? Вы ведь меня выгоните? А мне, действительно, очень нужно взять у вас интервью.

Я не знал, что отвечать, потому что если ей не понравился мой «Сад», – тогда и в самом деле, о чем с ней разговаривать? А, с другой стороны, побеседовать с ней как раз очень хотелось. Это хорошо, что она не стала, как это делают все, договариваться со мной по телефону, а сразу пришла сама. Но, с другой стороны, если ей не понравился «Сад»…

Она подождала несколько секунд, дав мне насладиться собственной беспомощностью, потом поднялась на ступеньку, как бы навстречу ко мне, и произнесла тихо:

– Но мне приятно, что нет нужды обманывать. «Вишневый сад» мне очень понравился, как и «Три сестры». И знаете, почему?

Сейчас скажет: потому, что эти спектакли про меня, – раздраженно подумал я.

Но Алина сказала совершенно другое:

– Потому что мне тоже всегда казалось, что Чехов не любил людей, только я боялась об этом говорить. А вы вот не испугались.

Высокая. С тонкой беспомощной шеей. С красивой грудью. С

длинными ногами и длиннющими руками, которые летают по воздуху, словно сами по себе. И на вопросы умеет отвечать неожиданно. И смотрит умно. И себя оценивает через меня. В общем, все хорошо. Все – ладно, складно, чудесно и правильно.

Ну, и почему же тогда нельзя подскочить сразу, да за руки схватить?

Нельзя. Никак нельзя. Нельзя, ни в коем случае.

А почему, собственно?

Ведь все же понятно и очевидно с первых секунд. Я окликаю, – она поворачивается. Я оцениваю ее, она оценивает себя, через меня…

Да нет – раньше еще, до всех этих оценок. Бывает так: предчувствие будущего мгновенно превращается в знание его. Мгновенно. В секунду. Ни я – ей, ни она – мне еще ни слова не сказали. Ни она моего, ни я ее голоса еще не слышали. Я не знаю, чем пахнут ее волосы, а она не ведает, каков вкус моего поцелуя. Я еще не умею отличать среди десятков звука ее шагов, а она еще никогда не чувствовала силу моих рук. Еще не было между нами ничего, совсем-совсем ничего между нами не случилось, даже взглядов. Еще даже не произошел тот взрыв, от которого родится наша с ней Вселенная…

Но я и она уже превратились в «мы». И оба знаем про это превращение, не предчувствуем, сынок, а вот именно – знаем.

Так почему же нельзя взять за руку, сказать:

– Алин, мы ведь все понимаем, оба? Да? Я не ошибся ведь, правда?

И она ответит глазами на вопрос, который вообще не требует ответа. Потому что здесь ошибок быть не может. Ошибки – они, вероятно, потом пойдут, когда жизнь начнет сопротивляться любви, и, возможно, ей даже удастся победить. Да, сынок так бывает, что слабая жизнь одолевает сильную любовь, потому что любовь иногда так устает, что сдается практически без боя. А еще случается так, что мудрой жизни удается объяснить подростку-любви, что ее, любви, вообще не существует… Но это все – потом, потом, не сейчас.

А сейчас бы Алина глазами ответила на вопрос, который вообще не требует ответа. И я бы ее обнял, и поцеловал, и мы бы пошли куда-нибудь в обнимку, отчего-то совершенно не удивляясь свалившемуся на нас чуду. Мы пошли бы, твердо зная (зная, а не чувствуя!), что у нас начинается именно та любовь, которая есть обмен душами.

Но – нельзя. Никак нельзя. Нельзя, ни в коем случае.

Почему так? Потому что – так. Так и по-другому – никак.

И ты уже понимаешь, что никакой «прекрасной поры

предлюбья» здесь не будет, здесь – солнечный удар, желание объединиться с ней, которое требует немедленного удовлетворения.

Но – нельзя! Понимаешь? Нельзя! А что можно? А можно превратиться в спокойного, выдержанного человека – народного артиста, худрука и так далее, которому придется некоторое время проживать чужую, не интересную и не нужную жизнь, не задавая ни себе самому, ни миру лишних вопросов.

И вот мы идем в мой кабинет. И я спрашиваю: мол, для какого издания? И Алина чего-то там отвечает. И я чего-то опять говорю. И она чего-то. И я – чего-то забавное. И она смеется. Всё это похоже на то, как, скажем, в падающем самолете два человека обсуждают решение теоремы Ферма: самолет падает, а они произносят всякие умные слова, не обращая на жизнь вообще никакого внимания в абсолютной уверенности, что все будет, как надо. И вот у самой земли самолет вдруг прекращает падение и летит уже ровно и спокойно. Потому что бывают такие ситуации, когда жизнь совершенно не нуждается в нашей помощи, она сама идет так, как ей кажется нужным, а наше вмешательство ее, жизнь, даже раздражает.

И вот мы сидим в кабинете.

Алина говорит:

– У вас – уютно тут.

Я улыбаюсь молча.

На самом деле, жизнь остановилась, и все эти разговоры не имеют ровным счетом никакого значения. На жизнь можно будет снова обратить внимание, когда самолет выровнится и полетит, как надо. А пока…

Входит секретарша Оля: длинные ноги, глубокое, но напрасное декольте, вечно удивленные глаза. Неудавшаяся актриса, женщина, постепенно совершающая переход из: «Какая офигенная девка!» в: «Она еще ничего, правда?»

– Вы – чай, кофе? – спрашивает Ольга.

Алина отвечает вежливо:

– Я зеленый, если можно.

– Конечно, – Ольга старается быть гостеприимной. – А вам как всегда? – вопрос, как и сопровождающая его улыбка, обращены ко мне.

Я продолжаю играть роль, отвечаю сухо:

– Мне как всегда.

Какая, черт возьми, тоска!

Зеленый чай и кофе со сливками появляются мгновенно: Оля знает свое дело.

«Интересно, – думаю я. – А кто-нибудь когда-нибудь видел

Олю на сцене? Я, например, нет. Ее мне уже рекомендовали как неудавшуюся актрису и хорошую секретаршу. Кто и когда поставил на нее это клеймо?»

Но эти мысли – лишние. Пустые. Как и все остальное, впрочем. Этого всего на самом деле нет. А все, что существует, что существенно – оно внутри. И никак и ни за что нельзя его выпускать наружу.

Алина достает крошечный диктофон, начинает задавать вопросы. Вопросы – хорошие, умные, интересные, на них хочется отвечать… Нет, конечно, на самом-то деле, хочется другого, но, если уж отвечать – то хоть на такие вопросы, которые не раздражают.

Я замечаю – отмечаю – как хорошо одета Алина: сексуально и со вкусом одновременно. Одежда мужчины говорит только об одном: есть ли рядом с ним женщина и какой у нее вкус. Наряд женщины говорит о ней все. По сути, одежда женщины – это ее паспорт, причем дающий информацию гораздо более полную и, главное, интересную, нежели паспорт настоящий.

Я – умна, сексуальна, независима, а, если тебя интересует вопрос: «Счастлива ли я?», то засунь его себе в какое-нибудь свободное место, потому что на такие вопросы я отвечаю только тогда, когда сама сочту нужным, – вот вкратце, что говорит об Алине ее одежда.

И тут Алина задает важный вопрос…

Профессия у нее, конечно, дурацкая – ну, да Бог с ней, с профессией. Волосы ещё очень короткие. Зачем только женщины носят мальчишескую стрижку? У женщины такие волосы должны быть, чтобы в них могла утонуть мужская рука… Ну, ладно, потом поговорим, будет отращивать, как миленькая… Имя тоже неудачное, собачье какое-то: Алина. Когда мужчина доживает до моих седин, то хотелось бы, чтобы имя новой знакомой вызывало у него какие-нибудь ассоциации, желательно, конечно, приятные: так звали мою первую любовь, или мою любимую актрису, или даже учительницу… Такой привет из прошлого уверенности придает, не так страшно вступать в новизну. Алина – новое, неизвестное имя в моей жизни. Правда, в детстве на даче у соседей жила противная, не то чтобы даже злая, но очень вредная собака по кличке Альма. Вот только одну эту ассоциацию ее имя у меня и вызывает… Но имя – не прическа, его не поменяешь. Что ж делать? Придется свыкнуться.

И вот Алина спрашивает меня…

Интересно, а как её ласково называть? В постели, скажем? Алюша? Довольно мерзко звучит. Алинушка? Длинно очень. Алик? Совсем не годится… О чем только думали ее родители,

давая дочери такое имя?

Так вот она спрашивает меня, сама не понимая, насколько вопрос ее важен:

– А вы дальше собираетесь ставить классику? И если да, то что именно?

И я могу ничего не отвечать. Я могу отшутиться. Я могу заинтриговать. Но в эту самую секунду я хочу ответить так, как не мог ответить еще каких-то полчаса назад. Алина, наверное, начнет ахать-охать, не понимая: мой ответ означает, что в моей жизни появилась женщина, ради которой и *которой* – ее глазами, ее мнением, ее впечатлениями, да ею самой, наконец, – я смогу осуществить свою мечту.

И я отвечаю:

– Я работаю над «Гамлетом».

Я произнес это, пожалуй, излишне торжественно, будто произносил клятву.

Только завтра о моем решении узнает мой директор. А потом – мой актер Игорек, который только что сыграл главную роль в сериале «Русские терминаторы», и пора ему уже заняться серьезной работой. И мои народные – принародные, которым предстоит сыграть *подлинную* любовь Гертруды и Клавдия…

Но никому и никогда (разве только Алине, да и то – не уверен) я не расскажу, почему я решил воплотить свою давнюю мечту именно сегодня.

Итак, я произнес торжественно:

– Я работаю над «Гамлетом», – а потом добавил, словно испугавшись собственного пафоса. – Знаете, говорят, Мейерхольд просил написать на своей могиле: «Здесь лежит режиссер, который никогда не хотел ставить «Гамлета».

Я улыбаюсь. И Алина улыбается.

Забавно, думаю я, эта женщина с короткой стрижкой и неясным именем даже и не догадывается: именно благодаря ее появлению в моей жизни я решился наконец ставить «Гамлета». А мне это известно так же точно, как то, что у нас с ней есть общее будущее. Этому моему пониманию никаких рациональных объяснений не существует, и именно потому оно является абсолютно точным.

– «Гамлета»! – удивляется она. Удивляется тихо, почти шепотом, и, главное, не всплескивая руками. Я заметил: женщины, которые, удивляясь, всплескивают руками, редко бывают искренни. – Как интересно! – Продолжает Алина, почти не повышая голоса. – Значит, у вас наверняка есть неожиданная концепция! Не поделитесь?

Я смотрю на нее, улыбаясь чуть снисходительно и иронично.

Не произнося ни слова, отрицательно качаю головой. Ловлю ее любопытствующий взгляд. Выдерживаю паузу. Произношу слова спокойно, даже чуть небрежно:

– Могу только сказать, – не для печати, а для вас лично – что действие моего спектакля будет происходить в России.

Я был уверен, что этот мгновенный укол ее потрясет: Эльсинор – в России! И она начнет дальше расспрашивать, а я буду уклоняться от прямых ответов, и все пойдет, как надо, и она, конечно же, восхитится мной…

Твой отец – идиот, который стареет быстрей, чем умнеет. Почему? – вежливо спросишь ты. Потому что только идиот может надеяться предсказать ответ той женщины, ради которой в первую же встречу решил ставить «Гамлета».

Ее взгляд не зажегся, а потух, она вздохнула и произнесла печально:

– Да-да, ясно… Островский – в пионерском лагере, Ибсен – в детском саду, «Двое на качелях» – в лифте… Герои «Ревизора» – в кожаных пальто, «Гамлет» – в русской деревне, Офелия в сарафане вешается на березе… Извините, я не хочу вас обижать, просто…

Она замолчала, опустила глаза и начала внимательно рассматривать собственные колени. В эту самую секунду я понял, что Алина принадлежит к тому сорту женщин, которых надо завоевывать каждую минуту. Такие женщины всегда держат мужчину в тонусе. Такие женщины никогда ничего не принимают на веру только для того, чтобы понравиться. Мужчине с ними нелегко, но зато есть шанс каждую секунду ощущать себя победителем. «Хорошо же, Алина, – думаю я. – Мне симпатично такое ведение разговора».

Я молчу еще немного – пусть она решит, что разоблачила меня, а потом спрашиваю спокойно, едва улыбаясь, разумеется, по-доброму:

– Знаете, что будет написано на афише спектакля?

– «Русский Гамлет», – вздыхает Алина, с трудом сдерживая скуку.

– Нет, – улыбаюсь я победно. – На афише будет написано: «Борис Пастернак. «Гамлет». Перевод трагедии Шекспира». Понимаете?

Я замолкаю. Я с удовольствием наблюдаю, как ирония и тоска в глазах Алины постепенно превращаются в заинтересованность.

И я продолжаю:

– Пастернак был художник, а художник – это тот наглец, который считает, будто миру интересна его собственная

рефлексия. Как бы точно ни старался Пастернак перевести Шекспира, он ведь все равно рассказывал о себе, о том, что мучило его. «Гамлета» переводил великий князь Константин Романов, печатающийся под псевдонимом К. Р. – многие считают, что это – лучший перевод. Переводил Лозинский. Относительно недавно свою версию «Гамлета» предложил современный поэт Андрей Чернов. Каждый перевод – это другая история. И когда режиссер использует перевод Пастернака, – он ставит не Шекспира, а Бориса Леонидовича, – великого русского поэта, который свою собственную боль и свои собственные метания прикрыл маской Гамлета. Помните, стихотворение «Гамлет» Пастернака? «Я – один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить – не поле перейти». Про кого это говорит русская народная пословица? Про принца датского?.. «Гул затих. Я вышел на подмостки» – это про кого? Про Гамлета или про себя? В стихах, значит, писал про Гамлета, а, по сути, про себя, а когда переводил, думал только и исключительно про страсти Эльсинора? Такое может быть? Пастернаковский «Гамлет» – это ведь великие стихи, согласитесь. Может ли поэт написать гениальное творение, размышляя не о самом себе, а о каких-то далеких людях в непонятной, неведомой стране?

Это был хороший монолог. В меру умный, не занудливый, темпераментный, и, главное, интересный.

После него Алина задала тот единственный вопрос, который, собственно, только и можно задать после такого монолога:

– А вы пригласите меня на репетицию?

– Конечно. То, что я вам рассказал – это так, мелочи. Внешнее это все… Суть моей концепции, понятно, в другом.

Алина смотрела заинтересованно. Я опрометчиво решил, что сражение выиграно и можно переходить к делу:

– Но, прежде, чем пригласить вас на репетицию, я бы хотел пригласить вас в ресторан: есть очень хочется.

И я улыбаюсь. И она улыбается. И произносит сквозь добрую, нежную почти улыбку:

– Спасибо. Но я спешу.

И снова я – идиот. Эта женщина никогда не будет делать того, чего от нее ждешь. Ее невозможно завоевать раз и навсегда. С ней придется постоянно бороться, иногда одерживая победы. Такие женщины привязывают к себе не ревностью, не постоянными внутренними диалогами, а вот именно этим ожиданием будущих побед.

– Когда вы придете на репетицию? – спрашиваю я таким тоном, словно репетиции уже вовсю идут.

– Когда пригласите, – улыбается она.

Она все время улыбается, словно понимает что-то очень важное, но мне неведомое. Эта улыбка поднимает ее надо мной, потому что понимающий человек всегда выше непонимающего. И мне это не нравится, конечно. Но – ничего. Мы еще поборемся. Борьба с женщиной, которую любишь, – это самое прекрасное и самое сексуальное, что может быть в жизни мужчины.

И вообще неизвестно по большому счету, кто победил. Ведь у меня в руках – номер ее телефона.

Я проводил ее до двери кабинета…

Нет, конечно, любимую девушку надо было бы проводить до служебного входа, а вот журналистку – только до двери. И ведь она все понимает прекрасно, и я понимаю. Но коли уж вы, мадам, играете, то и мы, разумеется, подыграем – почему нет?

На столе лежала ее визитка. На визитке – телефон. И не какой-нибудь там «служ», или «дом», а самый, что ни на есть – «моб.», – то есть, тот, который всегда с собой.

И что? Я, как пацан, буду ждать ее звонка? Как мальчик, придумывать дурацкие поводы «для позвонить»? Что за бред! В чем вообще проблема? Сейчас схожу к своему Васе, объявлю ему про «Гамлета», а потом сразу ей позвоню.

Я взял белый лист бумаги, написал сверху «Б. Пастернак «Гамлет». Перевод трагедии Шекспира» и буквально за несколько минут написал распределение ролей (в голове у меня оно уже давным-давно было готово и тысячу раз сверено с самим собой), пошел к Васе, сел в кресло и без предисловий сообщил, что буду ставить «Гамлета».

Вася молча протянул руку почему-то ладонью кверху.

Я посмотрел вопросительно.

– Где бумажка с приказом о распределении и сроками?

Это было неожиданно.

По-моему, я уже говорил тебе, что Вася хотел доказать (в первую очередь, самому себе): театром руководит именно он, и потому ни одно мое решение не принимал без короткой, но яростной дискуссии.

Я смотрел удивленно.

Вася явно был доволен произведенным эффектом.

– Дорогой вы мой, – заулыбался он, опуская руку. – Ваш Чехов продается лучше, чем «ОБЭЖ» – вот ведь оно как! Зритель хочет про умное, – кто бы мог подумать? Видать, обожрались глупостями с голубого экрана и теперь такое на театре ходят поглядеть, чтобы самих себя уважать можно было. Где приказ-то?

Я достал свой листочек, Вася бегло на него глянул, – и ничего не сказал. Может, он и вправду был уверен, что «Гамлета» написал Пастернак? А что? Вполне себе английская фамилия…

Вася стал перепечатывать распределение. Поразительно, но он ни разу не воскликнул: «Да вы что, он же бездарь!», ни разу не повернулся на крутящемся кресле и не спросил нервно: «Вам разве не известно, что он – запойный?» Неужели мне, пусть временно, но удалось победить Васю? Невероятно!

Когда приказ о начале репетиций и распределении ролей был готов и проставлены весьма условные, как всегда бывает в таких случаях, сроки, – Вася вдруг внимательно вгляделся в написанное и спросил с плохо скрытым ужасом:

– А где же призрак отца Гамлета?

– Его в спектакле не будет.

– А Гамлет будет? – поинтересовался Вася у самого себя. И сам себе ответил радостно. – А Гамлет будет. И Офелия. И Клавдий. И Гертруда. И даже люди с плохо выговариваемыми именами Розенкранц и Гильденстерн. И даже могильщики есть! Очень хорошо. Масса народу окажется при деле, меньше станут водку пить. Когда читка?

Я задумался… Нет, не так: чего тут задумываться? Я вспомнил Алину. Судя по скорости, с какой осуществилась моя мечта, – Алина приносит счастье. А может, убивает мечты… Впрочем, кому известна разница между: «приносит счастье» и «убивает мечты»?

– Послезавтра начнем, – сказал я тоном полководца, отправляющего войска на решающее сражение.

Вася распечатал приказ, мы подписали. Потом директор вызвал секретаршу, отдал ей приказ, и велел повесить на доску объявлений немедленно.

И мне стало грустно. У меня погибла еще одна мечта – она осуществилась. Эти манящие мечты – они-то ведь и ведут нас по жизни: покуда остались они, нам есть, куда стремиться. Оглянешься назад, а там – кладбище «мечт». И чем больше кладбище – тем больше сбылось и тем, получается, удачнее жизнь. Удачность жизни определяется величиной кладбища мечт, – ужас какой! Поэтому надо смотреть вперед: там манят одинокие мечты, и, словно конфетки из рекламы, требуют, чтобы их немедленно поглотили. Старость – это когда не осталось «мечт». Получается, что сегодня я стал старше на одну мечту.

Я вернулся в свой кабинет. Взял визитку Алины. Повертел в руках. Позвал секретаршу Олю, попросил кофе. Внимательно вгляделся в визитку, будто надеясь отыскать на ней что-нибудь неожиданное…

Ну, что за игрища в моем-то возрасте? Всё понятно и мне, и ей, наверняка, тоже. Зачем это дурацкое стремление мальчишествовать в любви? А, может, это – косметическая

операция души? Почему нет, собственно? Для омоложения тела чего только не придумали: кремы всякие, процедуры, даже пластические операции. А для души – чего? Хочется, конечно, сказать: «любовь»… Однако любовь – это ведь такая история: когда молодит, а когда и старит. Вот и мальчишествуешь по-всякому по-разному, душу свою уставшую молодишь.

Вошла Оля с кофе. Сказала, что ко мне просится Игорь, – тот самый парень, которого я назначил на Гамлета.

Игорь вошел, поздоровался, потоптался у двери, а потом сообщил неожиданное:

– Тут это… – начал Игорь и замолчал, честно изображая неловкость. – Ну, в общем… – Он очень старался, чтобы я почувствовал его смущение. – Короче… Меня тут позвали в телевизионное шоу «Положи на лопатки»… Ну, эта… Типа… Ну, шоу такое. Телевизионное. Там выходят на площадку две звезды, и кто кого первым на лопатки положил, тот, значит, и выиграл. Ну, и я чего спросить хотел… Типа это, получится совмещать с Гамлетом? Как вы думаете? Ну, чисто по времени – получится?

– Вы хотите меня спросить, – я старался оставаться спокойным. – Можно ли совмещать шоу «Положи на лопатки» с репетициями роли Гамлета?

– Ну, типа того. Чисто по времени?

– Нет.

– Точно?

– Абсолютно. Роль Гамлета, о которой мечтает любой актер в мире, никак не совмещается с шоу «Положи на лопатки». Ни по времени, никак.

Было видно, что Игорь очень расстроился.

– А чё делать? – поникшим голосом спросил он.

– Выбирать. Причем, немедленно. Прямо здесь и сейчас.

Игорь мялся. Я ждал. Я видел, что парню по-настоящему нелегко. Смеяться или иронизировать над ним мне совершенно не хотелось: в конце концов, разве он виноват в том, что современная жизнь предлагает актеру именно такой выбор?

– Дайте мне десять минут, – попросил Игорь. – Я подумаю.

«Ушел отсюда навсегда!!!», – хотелось заорать мне, и немедленно подписать приказ об увольнении из театра идиота, который должен десять минут думать над тем, что важнее: телешоу или Гамлет.

Но я сдержался. Знаешь, сын, что я тебе скажу? Это очень глупое и нелепое занятие: судить молодых по критериям собственного поколения. Может быть, именно общаясь с тобой, я понял: взрослые хотят, чтобы дети были такими же, как они, только лучше, и надо сделать над собой серьезное усилие, чтобы

понять: вы – не улучшенный вариант нас, а совсем иные люди.

Я не знаю, советовался ли он с кем-то, или действительно размышлял сам по себе. Но ровно через десять минут он решительно вошел в мой кабинет и сказал:

– Я тут типа… Эта… Подумал… Короче, так… Меня ж в телеке могут завалить в первом туре конкретно. Правильно? Ну, и на фига … ой, извините… Я говорю: чего так рисковать-то? А тут все-таки «Гамлет»… Не каждый, как говорится, день и вообще… Короче, я позвонил в этот зомби-ящик и типа отказался. Вот.

Я подумал, что Станиславский вряд ли бы одобрил мой выбор исполнителя заглавной роли. Оправдывает меня только то, что Константин Сергеевич и вообще вряд ли бы одобрил наше время.

– Игорь, ты «Гамлета» читал? – зачем-то спросил я.

Вопрос явно смутил молодую звезду.

– Мы это, – замялся он. – В институте типа проходили… Но вы не думайте: я сейчас прочту, прям по-быстрому… – Вдруг лицо его озарилось открытой, доброй улыбкой придурка. – Блин! Я ж кино видел… Там этот играл… Короче… Вылетела фамилия… Он еще в другом фильме благородно так машины воровал.

Я изо всех сил старался оставаться спокойным:

– Смоктуновский его фамилия. Иннокентий Михайлович. Будь любезен запомнить.

– Да я помню, я… – начал было Игорь.

Но я не дал договорить:

– Всё. Жду на читку.

Я взял Алинину визитку, набрал номер.

– Представляете, – сказал я безо всяких дурацких «здрасьте», или вежливых вопросов: «я вам не помешал?» – Представляете, ко мне пришел молодой актер и сообщил, что не может выбрать: играть ли ему Гамлета или участвовать в телешоу?

Впрочем, такое начало разговора Алину вовсе не удивило.

– А я думаю о вас, – сказала она совершенно спокойно. – Езжу по городу и думаю.

– Хорошо думаете?

– Не уверена, что хорошо, что думаю. Но думаю хорошо, – Алина рассмеялась.

– А я боялся вам звонить.

– Правильно. Вдруг бы я вашему звонку не обрадовалась?

– А вы обрадовались?

– Обрадовалась.

«Какой идиотский разговор! – подумал я. – Детский, кокетливый, дебильный. Так и будем разговаривать, словно малолетние дурачки?»

– Когда я могу вас увидеть? – спросил я.

– Вы обещали пригласить меня на репетицию, и…

Я не дал ей договорить. В конце концов, любая игра должна иметь свои границы и свои приличия.

– Послушайте, Алина, – я старался говорить очень быстро, боясь, что она меня перебьет. – Я хочу вас видеть. И вы это прекрасно понимаете. Вы все прекрасно понимаете. Если вам мои слова неприятны, оскорбительны или противны, – так и скажите. Зачем вы надо мной издеваетесь?

– Я? – пискнула Алина.

Но, если уж я начал говорить, меня, словно милицейскую сирену, перебить невозможно: пока не закончу, – не остановлюсь.

– Вы. Вы же – женщина, – тараторил я. – Это главное в вас: вы – женщина. И вы все понимаете прекрасно. И не просто понимаете, но чувствуете. А чувства обмануть не могут, правильно? Мы ведь взрослые люди…

– К сожалению, весьма взрослые, – попробовала Алина встрять в мой монолог.

Но ей это не удалось. Я продолжал:

– Я же не предлагаю вам сегодня поужинать. Это было бы неприлично. Или завтра позавтракать – еще более отвратительно. Я делаю вам вполне интеллигентное предложение: завтра пообедать.

С той стороны трубки на меня обрушилось молчание.

Мне было страшно его прерывать.

Так мы и молчали на двух концах трубки, абсолютно потеряв ощущение времени.

Наконец, Алина сказала:

– Завтра я не могу. Послезавтра вас устроит? В два?

– Послезавтра у меня – репетиция. К двум не успею. Давайте в три.

– Давайте в три.

Я предложил ресторан недалеко от театра. Она согласилась.

Дальше я поехал медленно, выключив радио, в абсолютной тишине.

Мне было страшно расплескать переполняющее меня счастье.

x x x

Когда я пришел домой, вы с мамой сидели на кухне и пили чай.

– Я начинаю репетировать «Гамлета», – сообщил я и гордо посмотрел на всех.

Я ожидал слов восторга, восхищения или как минимум

заинтересованности.

Ты помнишь, что ты сказал тогда? Ты сказал:

– Круто.

А мама спросила:

– Есть хочешь? На сковородке еще не остыло.

– Вот тут у тебя остыло, – я ткнул себя в район сердца. – Вы чего не врубились? Я начинаю репетировать «Гамлета»!

Реакции не последовало. Казалось бы – и ладно. Я ж понимаю, какая у меня семейная жизнь. Чего ж нервничать, и, тем более, обижаться? Вот бы мне и успокоиться, пойти в свой кабинет, почитать в сотый раз Шекспира… Или, наоборот, какой-нибудь детектив, чтобы отвлечься.

А я вместо этого взревел, словно слон перед свадьбой:

– Неужели в моей семье никому нет дела до того, что я начинаю ставить величайшую пьесу всех времен и народов? Вы хоть услышали: я начинаю «Гамлета» ставить! «Гамлета»!

Ты помнишь, что было потом? Вряд ли… Надеюсь, ты не запоминаешь наши скандалы – их случалось так много, а похожи они друг на друга, словно пельмени…

Потом всё происходило, как всегда: мама походила по кухне, видимо, собираясь с мыслями, и сообщила, что она совсем не убеждена, будто мне важно знать ее мнение.

– Мам, не начинай, – буркнул ты.

Я посмотрел на тебя. Ты смотрел взрослым, устало-испуганным взглядом.

Я никогда не говорил тебе, сын… Об этом просто не принято говорить… Нет, действительно, я никогда не говорил тебе, как я тебя люблю. Не знаю, как об этом сказать, правда. Но я очень хорошо помню, как началась моя любовь. Когда тебе было года три, я вошел на кухню, а ты сидел на диване и во что-то играл. И в этот самый момент, оттуда-то из самой моей глубины поднялась такая всеобъемлющая нежность, о существовании которой я и не подозревал. Ничего подобного я не испытывал ни к женщинам, ни тем более к друзьям. Это была такая нежность, от которой хочется плакать, а лучше – сразу умереть, чтобы не разорвало.

С тех пор всегда, если я смотрел на тебя внимательно, я чувствовал прилив этой нежности. Этот прилив смывал все обиды и гадости, которые жили во мне. Эта нежность была тем единственным, что спасало меня в нашем доме. Я никогда не говорил тебе об этом, сынок. Написать проще, чем сказать в глаза. Почему-то проще.

Я еще раз посмотрел на тебя и произнес спокойно:

– А есть я действительно хочу.

– Возьми на плите. Там – горячее, – сказала мама, и, уже уходя в свою комнату, бросила через плечо, как водится, без пауз. – Кстати, дорогой, атынехотелбыпоинтересоваться: чемзанимаетсята, котораяназываетсятвоейженой?

– Не расстраивайся, пап, – вздохнул ты, как только мама с грохотом захлопнула за собой дверь. – Женщины – сложные создания. А наша мама – чемпион мира по сложности.

Я потрепал тебя по голове… Представляешь, я так и не научился – проявлять нежность к собственному сыну. Да что там нежность… Я до сих пор не научился по-настоящему с тобой разговаривать.

Чтобы хоть как-то поддержать разговор, я спросил:

– Интересно, а, действительно, чем занимается мама?

Ты встал, улыбнулся и сказал спокойно:

– Мне кажется, наша мама занимается романом. Как, наверное, и ты.

Ты сообщил об этом совершенно спокойно, без досады и иронии. Таким тоном обычно произносят фразы: «сегодня похолодало» или «какая вкусная говядина была на ужин».

После чего, не дожидаясь ответа – а какой, собственно, мог быть ответ? – ты отправился в свою комнату к компьютеру.

Думаю, что мой папа – твой дедушка – изменял моей маме – твоей бабушке. Разумеется, я точно об этом знать не могу, но догадываюсь. Однако мне и в голову не приходило заговорить об отцовских романах на стороне с самим папой или с мамой. Вы – другое поколение, вызывающе свободное. Ах, боже мой, как же мы любим с умными лицами рассуждать про свободу, изо всех сил стараясь при этом делать выводы неожиданные и парадоксальные. А свобода – это просто отсутствие всяких рамок, в том числе и рамок приличий. Если рамки приличий растянулись до таких размеров, что их уже становится не видно, – значит, наступила свобода.

Впрочем, ладно, не важно…

Твои слова про то, что у мамы может быть роман, то есть, возможно, у нее есть другой мужчина, подействовали на меня так… ну, не знаю… как, если бы доктор сообщил мне, что у меня – какая-нибудь ужасная болезнь.

Мне никогда не приходило в голову, что твоя мама может мне изменять. Ира была моей. Точка. До болезни… после болезни… спокойная… нервная… хорошая… плохая… в одной со мной постели или в разных… Ира, с которой можно говорить или нельзя говорить… Добрая, злая, понимающая, равнодушная, усталая, красивая, замотанная, радостная, печальная… Да какая угодно! Но всегда – однозначно и только МОЯ! Себе я мог

позволить в этой жизни делать, что угодно, но даже представить, что Ирина будет чья-то, я не мог, как ни напрягал фантазию.

Странно все-таки устроен человек, человек-мужчина… Я регулярно ругаюсь с твоей мамой, мы с ней практически не разговариваем нормально, дошло до того, что ночь после премьеры, которую мы провели за обычной, в общем-то, человеческой беседой, воспринимается как из ряда вон выходящее, необыкновенное, радостное событие. Мы спим с ней в разных комнатах. Я ничего не знаю о ее жизни, она – абсолютно не в курсе моей. Попросту говоря, нас ничего не связывает, кроме совершенно взрослого сына, который, если честно, не очень-то в нас и нуждается.

И – вот ведь, какая штука! – когда после твоих слов я только подумал, что Ира уйдет от меня, мне стало так жутко, как бывало… ну, не знаю… в школе на устном экзамене по математике! Ага, с тех именно пор осталась память о неминуемом ужасе: ты понимаешь, что бы ты ни делал, как бы ни морщил лоб, кошмар этот грянет все равно, придавит тебя и расплющит. Не знаю, поверишь ли ты мне, но именно такой ужас я испытал, услышав твои слова про то, что мама может мне изменять.

Логикой этот страх не объяснить. Казалось бы, наоборот: пусть бы и влюбилась Ира в кого-нибудь, и ушла бы от меня, и освободила бы и меня и себя… В том, что твоя мама не способна ни на какие минутные адюльтеры, я убежден абсолютно, если бы и случился у нее роман, то серьезный. Роман? Серьезный? Долгие отношения с другим мужчиной? Ну, и замечательно! И узел бы наш семейный разрубился бы наконец, и я бы получил свободу «безрамочную», но при этом не родилось бы у меня никакого чувства вины, а, наоборот, превратился бы я в несчастного, брошенного мужа, который нуждается в жалости и поддержке. И наши с тобой отношения, уверен, от этого бы только окрепли. Все, вроде бы, чудесно.

Но я почему-то так испугался, что пошел в кабинет, рухнул на свой матрац, заставил себя уснуть мгновенно, только бы про ужас этот не думать, не представлять его в фантазиях и картинах.

Нет, согласись, странно все-таки устроен человек, человек-мужчина…

x x x

Я пришел вовремя, но Алина меня уже ждала: она сидела в своей машине и разговаривала по телефону. Говорила она яростно, увлеченно, никого и ничего вокруг не замечая, в том

числе и меня, и я смог разглядеть ее внимательно, без суеты и спешки.

Женская красота, сын мой, бывает доброй, а бывает и злой. Глядя на одну женщину, мужчина размышляет: «Вот сука какая, но я ее все равно завоюю!» Глядя на другую, и думает иное: «Какая удивительная женщина, рядом с ней мне будет тепло и уютно». И тут уж – кому что нравится. И злая красота вовсе не хуже доброй, а добрая вовсе не притягательней злой. Поиски и приятие той или иной женской красоты зависят от того, насколько ты в этой жизни устал: одни приключений ищут, другие пристань.

Алина была прекрасна, без сомнения, красотой доброй – такой, которая вызывает мысли о тепле, уюте, понимании и защите от всяких жизненных неурядиц. Алина заметила меня, улыбнулась и жестами попросила: мол, еще секундочку. Я тоже улыбнулся: конечно. И отошел, чтобы не стоять у нее над душой.

И вот, когда я отошел и чуть издалека посмотрел на темпераментную Алину, я почувствовал, что с этой женщиной, – наедине с которой я провел всего каких-то полчаса – мне хорошо и спокойно. Не когда-то там в будущем станет хорошо и спокойно, а вот именно сейчас именно хорошо и именно спокойно. И снова, как и на первой нашей встрече, я не просто чувствовал, но знал: с этой женщиной появилась у нас общая дорога. Куда заведет этот путь – неясно, но то, что мы будем двигаться по нему вместе – очевидно. Поэтому не надо дергаться, нервничать, мы уже идем вместе по дороге. Всё. Это случилось.

Она выскочила из машины, улыбнулась и сказала:

– Ужасно хочется есть. Пойдем, будем меня кормить.

И это были самые уютные слова, которые только может сказать женщина на первом свидании.

Официант, весь в белом, похожий на короля сметанного царства, с такой же бело-сметанной улыбкой, подлетел быстро, и мы поназаказывали ему всякого вкусного.

– Ну, как ваш «Гамлет»? – первое, что спросила Алина.

Я тогда еще не знал, что эта женщина обладает удивительной способностью спрашивать меня ровно о том, о чем мне очень хочется рассказать. Женщина, которая умеет почувствовать, что тебя волнует в данную секунду, и спросить именно об этом – незаменима и может надолго, если не навсегда, стать единственной.

А я ведь с читки прибежал, с первой репетиции, на которой доказывал артистам свое виденье самой великой в мире пьесы, стараясь быть убедительным, как ученый, и темпераментным, как режиссер. Артисты слушали удивленно и недоверчиво. Кто-то

подобострастно кивал, кто-то откровенно позевывал. Но, в основном, удивление и недоверчивость читал я в их глазах. И я объяснял, доказывал, спорил, отвечал на любые вопросы, помня главную заповедь режиссера: есть один ответ, который навсегда должен быть исключен из режиссерского лексикона: «Не знаю». Я не был уверен, что смог их до конца убедить, но то, что поколебал их привычное понимание «Гамлета» – это точно.

И вот я, наполненный всем этим, прибежал к Алине, а она спрашивает:

– Ну, как ваш «Гамлет»?

Не важно, почему она спросила именно это: возможно, для поддержания разговора; или потому, что не знала, о чем ещё меня спрашивать; а может быть, специально желая сделать мне приятное, – все это не имело ровно никакого значения. Она задала именно тот вопрос, который мне так хотелось услышать.

И я начал отвечать. Передо мной была не журналистка, – какая на фиг журналистика! – передо мной сидела женщина, вместе с которой я теперь проживал жизнь, хотя она, возможно, ещё об этом и не догадывалась.

Итак, я принялся рассказывать Алине про своего «Гамлета». Я совершенно не думал о том, интересен ли ей мой рассказ, потому что, если честно, я был абсолютно убежден: он ей интересен невероятно.

Дорогой сын! Я понимаю, что тебе скучно читать про Гамлета. Ну, и не читай, не мучайся. Пропусти эти страницы с легкостью, поверь, я не обижусь. Но мне так приятно возвращаться к тем временам, когда «Гамлет» был только идеей, а женщина была только надеждой на огромную любовь…

Я говорил Алине страстно, эмоционально, с восторгом убеждаясь, что эта женщина вдохновляет меня. Знаешь, сынок, на самом деле, женщины, с которыми мы готовы обменяться душами, нужны нам только для одного: для вдохновения. Все остальное можно в разных местах получить, а вот вдохновение – только у них.

И вот, что я говорил, если вкратце.

Пастернак переводил «Гамлета» почти тридцать лет. Последний вариант перевода вышел уже после его смерти. Работал гений тщательно, осторожно, бережно. Однако все исследователи сходятся на том, что перевод Пастернака все-таки весьма вольный. И вообще о соответствии «Гамлета» шекспировскому оригиналу рассуждать довольно трудно, ведь Шекспир писал на староанглийском, который и коренные англичане не вдруг расшифруют. Так что Пастернак переводил с перевода.

И вообще, разве «Гамлет» в переводе Пастернака – это английская история? Разве это история про борьбу за власть? Что такое Эльсинор? Где он вообще находится? Во что тогда одевались люди? За какую власть они воевали? Разве при постановке «Гамлета» нам интересен исторический фон, исторические соответствия? Да нет, конечно! «Гамлет» – это не трагедия власти, это трагедия одной семьи, это вообще семейная история. Кроме того, это история, которую каждый народ присваивает себе. Я видел «Гамлета» в Эстонии, в Польше, в Англии… Там был эстонский Гамлет, польский Гамлет, английский Гамлет… В какой стране Гамлет ставится, такая у него и национальность. Попробуйте так подойти, например, к моему любимому Чехову – ничего не выйдет! А тут – пожалуйста.

Поэтому-то на афише будет написано: «Борис Пастернак. Гамлет. Перевод трагедии В. Шекспира». Поэтому-то впервые за многолетнюю историю постановок этой великой трагедии, действие будет происходить на фоне русского пейзажа, будет происходить в России. И это вовсе не дань современной театральной моде…

Сегодня в театральную режиссуру пришло множество закомплексованных, не уверенных в себе людей, у которых одна задача – крикнуть: «Смотрите, какой я талантливый! Смотрите, какая буйная и свободная у меня фантазия! Смотрите, какой я смелый! Пожалуйста, смотрите, смотрите, смотрите на меня!» И ради того, чтобы этот их крик был услышан, они готовы с ног на голову переворачивать любое классическое произведение.

У меня подобной задачи, понятно, нет. Просто я убежден: такой гений, как Пастернак, да еще и переживший за свою жизнь все то, что он пережил, когда переводил «Гамлета», думал не об Эльсиноре, а о России. Так это или не так, мы, разумеется, уже никогда не узнаем, но никто не может отнять у меня право думать таким образом.

Что же происходит в «Гамлете»? Когда ставишь такое знаменитое произведение, самое трудное – забыть все многочисленные трактовки и заставить себя прочесть его с удивленным восторгом первооткрывателя. Но если попробовать…

Странную историю поведывает нам Шекспир. Из иного мира приходит на землю призрак отца для того, чтобы заставить сына мстить своей матери. Как такое может быть? Призрак – это тот, кто пришел из *другого* мира, это тот, кто был рядом с Богом, кто познал какие-то иные, *надземные* законы. У Призрака – невероятно человеческая логика. Человек, конечно, может мстить тем, кто его обижал. Да, это не по-христиански, да, стремление мстить напрочь перечеркивает смирение – главную заповедь, но

по-человечески это все-таки можно понять. Но Призрак?! Тот, кто убедился, что человек после смерти не умирает?! Тот, кто узнал жизнь за гробом?! Тот, кто познал неведомые нам законы жизни, понять которые можно, только пережив смерть?! Разве может быть такое, что смерть ничему не научила отца Гамлета и он ведет себя так, словно не было ни смерти, ни воскрешения, пусть он и призрак? Какая-то тут явная нестыковка. Не может из загробного мира являться отец только для того, чтобы принести идею мести. А если призрака не было? Если Гамлет сам его придумал и разыграл?..

…Алина слушала, не перебивая, не задавая вопросов, и даже не глядя на меня. Но я чувствовал: ей очень интересно то, о чем я рассказываю.

Только когда я заговорил о Призраке, она подняла на меня свои огромные черные глаза и посмотрела удивленно.

– Дослушайте, дослушайте. Подождите, – сказал я, очень боясь, что она меня перебьет.

Алина молча кивнула.

…Кто такой Гамлет? Что он, собственно говоря, делает в этой пьесе? Если посмотреть на Гамлета, забыв Смоктуновского, Высоцкого, Козакова и других великих актеров, которые его играли, а просто оценить его поступки, то выяснится, что этот «страдалец» – довольно мерзкий человек. Это человек, который воюет с собственной матерью. Непонятно, по какой причине он издевается над Офелией, которая явно любит его. Он убивает ее отца, думая, что это – король, а потом над трупом отца своей возлюбленной произносит: «Прощай, вертлявый, глупый хлопотун!» Нормально: убить ни в чем не повинного человека и при этом не испытывать никаких угрызений совести? Он убивает своих университетских товарищей, потому что ему кажется, что они его предали… Они его предали, а он их жизни лишил! Гамлет, наконец, доводит до гибели свою мать. Гамлет вообще распоряжается чужими жизнями с легкостью киллера.

Он не верит в Бога? Не в этом дело. Гамлет – не безбожник и не боец с Господом. Гамлет вообще не имеет Бога в виду. Ну, нет в его системе координат Бога, а, значит, нет и не может быть любви. Его отношения с Офелией – скорее, впрочем, похожие на издевательство, объясняются очень просто: Гамлет не верит в любовь.

История Гамлета представляется мне вот каким образом…

… – Вам не скучно? – спросил я у Алины.

Спросил, чтобы услышать приятный мне ответ.

Но Алина продолжала оставаться непредсказуемой и ответила довольно резко:

– Вы прекрасно знаете, что я отвечу. И вообще, мне кажется, рассказывая про Гамлета, не надо еще и кокетничать с женщиной. Отвлекает и вас, и меня. Продолжайте.

Мне ничего не оставалось, как продолжать…

Вот представьте. Живет Гертруда, Гамлет-отец и Клавдий. Это трагический любовный треугольник. Гертруда замужем за Гамлетом-отцом, но любит Клавдия. И Клавдий ее любит. Это настоящая, подлинная любовь, которая не в силах преодолеть обстоятельства. Так проходит год за годом, проходит жизнь, и все всё понимают, но изменить ничего не могут. Все делают вид и постоянно лгут. Мальчик, названный в честь отца – Гамлетом, растет в мире лжи, и в результате вырастает именно таким, каким и должен вырасти тот, кто с пеленок живет в мире лжи и притворства: человеком, который ни во что не верит, не имеет в виду Бога, никого не любит.

И вот, когда Гамлет-отец умирает, Гертруда и Клавдий становятся по-настоящему счастливы: они наконец-то могут обрести друг друга. «Гамлет» – это еще, а, может быть, и в первую очередь – история о любви пожилых людей, которые почти накануне смерти обрели друг друга.

Гамлет-отец погибает сам, его никто не убивает. Когда приглашенные Гамлетом артисты разыгрывают сцену смерти Гамлета-отца перед Клавдием, Клавдию становится плохо не потому, что он убийца. Тут важно понять, что сама по себе задумка Гамлета не только очень жестока, но и просто довольно странна:

Я поручу актерам
Сыграть пред дядей вещь по образцу
Отцовой смерти. Послежу за дядей —
Возьмет ли за живое…

Милое дело! Кто из пожилых людей не побледнел бы, не схватился бы за сердце, если бы спустя несколько дней после смерти брата увидел бы разыгранное артистами убийство?

Гамлет прекрасно видит, как счастливы мать и дядя. Заметим, что их свадьба никого в пьесе, кроме самого героя, не раздражает: все понимают, что это позднее, запоздавшее счастье – заслуженно. Но Гамлет – воплощение ада, он не может видеть чужую любовь. Любовь – это то, что он ненавидит больше всего на свете, даже если это – любовь матери. Сам факт того, что кто-то умеет любить – нарушает дьявольскую гармонию Гамлета и потому так раздражает его.

И Гамлет начинает мстить – не за смерть отца, а за свое детство, за всю свою жизнь, за то, что у него никогда, по сути, не было матери. Гамлет мстит потому, что он воспитан мстителем. И

в этом – его трагедия.

«Гамлет» Пастернака – это семейная, а не политическая трагедия. Коротко говоря: это история про то, как живущий во лжи, без любви, ребенок, превращается в монстра и начинает крушить все на своем пути.

Знаменитый монолог (самый знаменитый монолог мирового театра): «Быть или не быть?» – Гамлет произносит с уверенной иронией человека, который абсолютно точно понимает, что быть надо всегда. Про что этот монолог? Про то, что замыслы не должны погибать из-за нерешительности. Вот и все. Гамлет понимает: решил – действуй. Решительность, решимость, а не рефлексия – вот стержень этой великой роли.

Если опять же попробовать сформулировать в двух словах основную идею гениальной трагедии, то можно будет сказать: «Гамлет» – это история про то, что бывает с детьми, если они растут во лжи и без любви. История страшного молодого человека, одержимого жаждой мести.

Ещё и потому это очень российская трагедия. Слишком часто в истории моей Родины поколения молодых людей вырастали во лжи, вырастали без каких-либо внятных принципов, а потом все крушили на своем пути…

…Я закончил говорить, и, как сумасшедший, начал пожирать греческий салат. В эту секунду я ужасно испугался реакции Алины. Некоторое время Алина молчала. Мне казалось, что она подбирает нужные слова.

Греческий салат заканчивался, а я по-прежнему сидел, не поднимая глаз, словно нашкодивший школьник перед учительницей.

– Я с вами совершенно не согласна, – сказала Алина спокойно и четко. – Абсолютно. Мне кажется, я неплохо знаю это произведение Шекспира, и ничего того, что вы там увидели, я там не находила. Но мой взгляд не имеет отношения к делу. Самое невероятное, что всё это пришло вам в голову. И вы должны довести спектакль до конца. Обязательно. Что бы и кто бы вам ни говорил…

Она посмотрела на меня внимательно и без тени иронии добавила:

– Мне ужасно интересно, что у вас получится.

Убей меня Бог, но я услышал в этих словах объяснение в любви. Впрочем, влюбленный мужчина в любых спокойных и не ироничных словах женщины запросто услышит объяснение в любви.

Видишь ли, в чем дело, сынок: мне всегда нравились самостоятельные женщины, то есть такие, с кем трудно. С теми,

кто умеет говорить приятное, с кем просто и беспроблемно – как с Мариной – мне быстро становилось скучно. Дожив до своих седин, я твердо понял: главное, чтобы с женщиной не было скучно, а легко с ней или трудно – это вопрос второй, менее значительный…

– У вас есть дети? – спросила Алина.

– Сын, – ответил я. – Шестнадцатилетний оболтус.

Прости, сын, но именно так я и сказал: «оболтус». Хотя, есть вдуматься, у меня не было никаких причин так тебя называть. Странное дело, однако, мне редко приходилось слышать, чтобы родители говорили о своих детях с гордостью или хотя бы с уважением, все чаще – иронично или даже пренебрежительно. И я тоже, – вот ведь как! – поддался этой странной моде.

А Алина не поддалась:

– Надо же, у нас дети – ровесники. У меня шестнадцатилетняя королева растет, называется Машка.

– Ну, раз у нас дети – ровесники, значит, надо переходить на ты, – сообщил я.

– Договорились, – Алина поддела вилкой жаренную картошку. – Может, нам детей познакомить, как думаешь?

К слову сказать, я сделал такое незамысловатое открытие: если женщина ест картошку и/или макароны – значит, она не закомплексована и уверена в себе. Постоянно худеющие и думающие о своей фигуре женщины, как правило, в себе не уверены, хоть никогда и не признаются в этом. Постоянно худеющая женщина озабочена проблемой, как бы себя улучшить, а это само по себе – верный признак закомплексованности…

Идея познакомить тебя с ее Машей мне понравилась, и я даже предложил пригласить вас всех в театр. Мне показалось, что, предлагая познакомить детей, Алина, тем самым, демонстрирует, что хочет длить наши отношения, то есть, в сущности, опять же объясняется в любви.

Мы говорили радостно, поскольку все время узнавали друг о друге что-то новое, и это новое казалось невероятно интересным и важным, как всегда бывает у людей, которые стоят на пороге любви и уже приготовились сделать шаг за этот порог. Мы говорили жадно, как люди, истосковавшиеся по пониманию.

Я как-то очень быстро и легко убедил себя в том, что наш роман уже начался, и после кофе слегка обнял Алину и даже поцеловал. Почему-то в глаза…

Она не удивилась. И когда я положил ей на колено руку, не убрала. Смотрела Алина безмятежно и заинтересованно. Мне даже показалось, что она не изучает себя в моих глазах, как это делали другие: она и так все про себя знала, и я совершенно был

ей не нужен в качестве зеркала.

Я обожаю эти мгновения, когда совершенно ясно, что бежать от любви поздно и некуда, но сама любовь ещё не началась. В эти мгновения возникает прекрасная иллюзия: ты стал хозяином будущего, ведь тебе совершенно точно известно, что произойдет через какие-нибудь несколько минут.

Алина вдруг как-то очень по-театральному потерла виски – так плохие актрисы изображают, будто вспомнили что-то важное – и сказала:

– Мой муж… – она посмотрела мне прямо в глаза и почему-то улыбнулась. – Да, кстати, у меня есть муж, называется Сергей… Так вот он считает, – она неожиданно замолчала. – Тьфу ты, черт, совершенно забыла, что я хотела сказать.

Да понятно, Алиночка дорогая, что ты хотела сказать. Ты хотела сказать, что у тебя есть муж. И что? Соблюдая неясные рамки приличий, я не буду, конечно, говорить этого вслух, но меня твое сообщение совсем не огорчило. Не скажу, что обрадовало, но не огорчило. Я как-то сразу понял, что твой муж не имеет отношения к делу, так же как, впрочем, и моя жена. Ты сообщила о муже для очистки совести – очень хорошо. Я про свою жену сообщать не стану: во-первых, мою совесть уже вряд ли очистишь, тем более словами, а, во-вторых, ты ведь, Алина, – журналистка, и про наличие у меня жены, наверняка, знаешь и так. И раз тебя это не останавливает, значит, опять же – все хорошо.

То, что у Алины есть почти взрослая дочь – меня как раз порадовало и очень. Потому что если у женщины в таком возрасте нет детей, она на любого мужчину смотрит, как на производителя. А мне это совсем не интересно.

– Послушай, – произнес я тоном человека, которого вдруг осенила важная, и, одновременно, прекрасная мысль. – У меня в машине есть буклет нашего театра, я хочу тебе подарить, может, пригодится для статьи?

Она посмотрела на меня совершенно серьезно, и тени улыбки не было в ее глазищах:

– Мне тоже очень не хочется с тобой расставаться, – произнесла она без вздоха. Естественно произнесла, и это было чудесно!

Мы целовались в машине долго и с приятностью.

Потом я проводил Алину до ее автомобиля, сел в него, конечно, и мы опять стали целоваться.

Вдруг Алина безо всякого предупреждения куда-то поехала.

– Чегой-то? – спросил я.

– Просто покатаемся. Не возражаешь?

Конечно, я не возражал. Алина вела машину по-мужски уверенно и по-женски вежливо.

А когда я уже ехал домой, я зачем-то повторял, как заклинанье:

– Эту женщину я никому не отдам. Эту женщину я никому не отдам.

Как будто на нее претендовала армия любовников.

Когда я подошел к подъезду, зазвонил мобильник.

– Это я, – услышал я голос Алины, который теперь казался мне невероятно сексуальным. – Я хочу тебе сказать, что теперь я у тебя есть. Помни, пожалуйста, об этом.

– И я – у тебя, – вякнул я.

– Спасибо тебе за сегодняшний вечер. Спокойной ночи.

Дома все спали.

Я пошел на кухню, поставил чайник. Открыл холодильник, достал сыр, зачем-то отрезал себе кусок, потом еще один… Я все делал абсолютно механически, на автопилоте, а в голове моей жили, повторяясь, только две мысли: «Я ее никому не отдам», и «Сегодня был очень важный день в моей жизни, день, который ведет к счастью». Почему я так решил – не знаю. Но это было важное и твердое решение, которое строилось на абсолютной истинности и правоте чувства.

Я вошел в свой кабинет и вспомнил, что завтра у меня вторая репетиция «Гамлета». Не знаю, был ли я к ней готов, но я лег спать в твердой уверенности, что пройдет она блестяще и спектакль у меня точно получится гениальный.

x x x

На одной из репетиций Игорек – мой молодой, не до конца разумный, но зато очень энергичный актер, а энергия в наше время важнее всего остального, даже когда речь идет о роли Гамлета… Так вот Игорек спросил на одной из репетиций:

– Я тут это… Не понимаю типа. Ну, потому что, если Гамлет за власть борется, тогда, вроде того – нет вопросов. Потому что власть там… деньги… то да сё… Это все хотят, все понятно, – базара нет… Извините… В смысле, без вопросов. Ну, вот… Короче… А если Гамлет просто мстит из-за собственной паскудности… Извините… Я имею в виду из-за вздорного характера если мстит просто – то это как вообще? Как-то мне кажется, это зрителю будет не до конца типа ясно.

Мой Игорек принадлежит к той категории актеров, которые очень любят задавать вопросы, а вот ответы получать им вовсе не

обязательно. Они задают вопросы не для того, чтобы им ответили, а для того, чтобы возвеличиться в собственных глазах. Ответы их, в общем, не волнуют. Но главное даже не это, а то, что ни их вопросы, ни мои ответы вовсе никак не влияют на конечный результат – сыгранную роль.

К нашему общему с Игорем удовольствию и удовлетворению я ответил ему нечто неясно-умное, другие артисты тоже слушали внимательно. Они продолжали о чем-то говорить и даже, по-моему, спорить. А я задумался… И вовсе не о том, о чем они говорили и спорили.

Женщины водят машины гораздо лучше мужчин. Скоро ты сам сядешь за руль и в этом убедишься. Тут дело даже не в том, что они более внимательны и вежливы (хотя, конечно, они более внимательны и вежливы), и все-таки главное в другом. Женщины – в отличие от нас, мужиков, – умеют разглядеть в других водителях – людей. Понимаешь, что это значит? Как-то у них получается, – поставить себя на место другого, войти в его положение.

Вот, скажем, разворачивается длиннющий грузовик с прицепом, перегородив собой улицу. Пацаны всех возрастов ему, понятно, давай сигналить, еще окно не поленятся открыть, чтобы гадость какую крикнуть. А женщина сидит себе тихонечко, думает: «Как же тяжко, наверное, водителю грузовика», и мыслям своим улыбается. Какой-нибудь безумец в «БМВ» сигналит девушке – вроде как подгоняет, а она едет себе спокойно, размышляя: «Ну, что поделать, если нервный такой человек?», и при первой же возможности пропускает его. Он проносится, сигналя, нервно глядя в окно, и еще знак какой неприличный вполне может показать. Потому что он, дурачок, думает, что победил, а девушка ему просто сочувствует, иногда еще успевая в мыслях пожалеть и жену его, и детей.

Мужчине на дороге надо обязательно кого-нибудь обхамить, обогнать, подрезать – это почему-то нас, водил, возвышает. А женщине такое поведение кажется не только унизительным, но и глупым. Нелепым ей представляется портить свое настроение из-за чужой дури.

Но, увы, столь часто не выдерживает наша красавица, устает она на дороге быть женщиной. И превращается, бедолага, в водилу-мужика: начинает подрезать, сигналить, торопить… И нервничать, разумеется, тоже.

Вот вам, пожалуйста, будьте любезны: метафора нашей жизни. В этой жизни есть те немногие и уже потому удивительные женщины, которые вовсе не участвуют в нашей безумной гонке за славой и богатством, кто едет спокойно, не

подрезая и не хамя, и, главное, умудряясь разглядеть в каждом из несущихся по дороге – не просто водил по жизни, но людей. Сочувствие и понимание лишь потому еще вовсе не исчезли из нашего мира, что в этом мире есть женщины.

Однако их становится все меньше – и на городских, и на жизненных дорогах. Женщина – она ведь от мужчины отличается не только формой, но и, извини, содержанием: то есть взглядом на жизнь и пониманием ценностей. А если взгляды на жизнь, понимание ценностей и даже способ обретения этих самых ценностей у мужчин и женщин одинаков, то в чем же тогда между ними разница? Одежда унисекс – это ведь не просто мода, это, согласись, символ. А потому счастлив должен быть мужчина, отыскавший ту, которая и по городу и по жизни умеет ездить по-женски достойно. Надо ли добавлять, что именно так рулит и по дороге, и по жизни Алина?

Тебя, наверное, удивляет, что я раздумывал обо всем об этом во время репетиций «Гамлета», когда артисты чего-то там такое спорили и говорили? Не удивляйся: с тех пор, как в мою жизнь ворвалась Алина, я, так или иначе, думаю о ней постоянно. Мне кажется, Алина влияет на все, что происходит в моей жизни. Абсолютно на всё…

Знаешь, в последнее время мама стала общаться со мной удивительно по-доброму. Не просто стала со мной общаться, чего давно не случалось, а именно – по-доброму. Как ни странно, мне кажется, что в этом тоже есть заслуга Алины. С ее появлением в моей жизни я стал гораздо спокойнее. Думаю: мама это чувствует (конечно, не понимает, но чувствует) и тоже успокаивается.

Чем же еще можно объяснить, что она вдруг встретила меня ужином, и мы сидели с ней и разговаривали, что само по себе невероятно? И мама спрашивала про репетиции «Гамлета», и я рассказывал ей про мучения с сериальным Игорьком. И мы смеялись. Мы смеялись вместе, можешь себе это представить? И всё шло вполне себе хорошо, мирно, даже лирично, и вдруг Ира сказала:

– Как хорошо мы могли бы с тобой жить, правда?

Я едва не ответил ей: «Конечно! Разумеется! Если бы не твоя болезнь, – безусловно! Если бы так не зациклилась на себе, сумела бы остаться женщиной, – то есть, таким человеком, который не может быть счастлив, если рядом нет мужчины, – тогда, без сомнения, мы бы жили хорошо!»

Но я сдержался – уж очень не хотелось скандала. Я улыбнулся, как мне казалось, мудро-иронично. Мама подошла ко мне и поцеловала в щеку. И все это было удивительно. Тут я и сказал ей, что послезавтра уезжаю в командировку на три дня.

Мама удивилась:

– А как же репетиции «Гамлета»?

– Что делать? Три дня ничего не решат. А это очень важная поездка. Очень. Едет много театрального начальства, может быть, получится выбить деньги для театра.

– И куда вы едете? – Ирина спрашивала заинтересованно, я уже и не помню, когда в последний раз она спрашивала меня о чем-нибудь столь заинтересованно.

Я не ждал этого вопроса, и город не придумал. Я ведь все врал про командировку. Не предполагалось, понятно, никакой командировки. У Алины куда-то уехала подруга и оставила ей ключи – кормить кошку, Алина предложила три дня пожить у подруги. И я согласился, конечно. А что Алина врала своему мужу, меня совершено не волновало. А почему, собственно, меня это должно волновать, правда?

Я ждал от мамы всплеска, скандала, но никак не заинтересованности. И я назвал первый город, который пришел мне на ум. Почему-то «Ульяновск».

– Вот и хорошо, – улыбнулась мама, и добавила: – Хоть лететь не долго.

Я продолжал играть роль:

– А мы на поезде. Трястись ужасно не охота… Но наш театральный союз деньги экономит.

Потом мама пошла в душ, а я остался доедать ужин под аккомпанемент какого-то очередного бреда по ящику.

Я все пытался понять: испытываю я угрызения совести или нет? Когда мама вела себя со мной зло, не замечала, произносила слова без пауз – угрызения совести, понятно, не возникали. А вот, когда – совместный ужин, совместный смех, доброе отношение… Тогда с этими угрызениями надо было разбираться. Не очень, правда, понятно, зачем, но – разбираться непременно, прекрасно понимая, что ничего все равно не поймешь.

А потом Ира вышла из ванны с распущенными рыжими волосами, одетая в весьма сексуальный красный пеньюар, который я, по-моему, никогда не видел. А, может, видел, но забыл… Странное дело, но я мог сосредоточиться на Ире только тогда, когда не ждал от нее равнодушия или атаки.

Она подошла ко мне и прошептала, глядя зачем-то прямо в глаза:

– Видишь ли, дорогой, мы с тобой – близкие чужие люди, и близкими родными людьми мы уже не станем никогда, правда?

Я хотел возразить: почему же… всяко может быть… и не такое бывает, мол… Но не успел: Ира помахала мне рукой:

– Спокойной ночи! Передавай привет Ульяновску,

симпатичный, должно быть, городок. Наверняка очень симпатичный.

И за ней захлопнулась дверь спальни. Мне отчего-то стало грустно. Я пошел в кабинет, на маленьком листочке написал «Ульяновск»: вдруг забуду через три дня, в какой именно город я уезжал? Листочек положил в бумажник, чтобы не потерять. Потом написал Алине смску: «Спасибо за три дня счастливого отпуска. Люблю. Целую».

Теоретически репетиции вполне можно было бы продолжать и даже с Алиной вместе в театр наведываться, чтобы она наблюдала за процессом и восторгалась мной, а потом, вечерами, говорить о том, как я интерпретирую Гамлета. Поговорили про Гамлета – в койку, утром встали, поговорили про Гамлета, вечером вернулись, поговорили про Гамлета – в койку… Чудесный получился бы кусок жизни: работа, любовь – абсолютная гармония. Однако… «Однако» заключалось в том, что я боялся: вдруг о моих репетициях узнает Ира. Тогда придется придумывать совсем уж невероятную историю, объясняющую, как так случилось, что я из города не уехал, а дома не ночую. Нет, конечно, можно было бы расписать, что конференцию перенесли в загородный Дом отдыха и я убежал оттуда, потому что ужасно хочется репетировать… Можно было бы неплохо все разукрасить, но для чего лишние фантазии и лишние нервы? Поэтому я сказал в театре, что репетиций не будет, ничего при этом не придумывая, не объясняя и не реагируя на всякие удивления: мол, как же так, только начали и уже – перерыв. В профессии любого начальника, в том числе и худрука театра, имеется безусловное преимущество: не надо никому ничего объяснять и не надо реагировать на чужие удивления.

Получил от Алины ответную смс: «А ты мне просто подарил счастье. Не знаю, надо ли за это благодарить?»

Я лег на свой матрац, в сотый раз подумал, что надо бы купить кушетку, и стал размышлять о том, почему же не получается у меня испытывать безусловное счастье? Меня ждут три дня с любимой, а я отчего-то ощущаю не восторг, а тревогу. Потом я стал раздумывать: можно ли все эти мои тревожные размышления как-нибудь приспособить к «Гамлету»?

Да так и уснул, как водится, – ничего толком не поняв.

x x x

Когда мы с Алиной находились рядом, любые проблемы каким-то непостижимым образом исчезали. По жизни моей и по

мне самому разливалось спокойное счастье, и ни на что иное – ни на проблемы, ни на вопросы, ни на страхи, ни на комплексы, – короче говоря, ни на что иное, кроме этого самого безмятежного счастья, места не оставалось.

С Алиной вообще все было не так, как всегда, не так, как я привык…

Всегда ведь как происходит? Вот встречаются мужчина и женщина, то есть, встречаются два мира, каждый из которых, заметим, существовал до встречи по своим законам, имел свои привычки и страхами, между прочим, тоже обладал собственными. И кто тебе сказал, что законы твоего мира не будут противоречить законам мира ее? И разве можешь ты быть уверен, что у тебя получится принять ее привычки, а у нее – принять твои? Ну, и как в такой ситуации не испугаться возникшего чувства, которое, возможно, переломает всю твою жизнь? Как не начать приспосабливать самого себя, свою душу к чужой жизни, чужой душе?

С Алиной все было по-другому. Мы, правда, словно поменялись с ней душами, и сразу все стало естественно и легко. С ней все делать было хорошо и, что самое невероятное, беспроблемно: заниматься сексом; ходить в магазин за продуктами; обсуждать «Гамлета» и ее статьи; говорить и молчать; есть и пить; ездить на ее машине и на моей; гулять по городу и сидеть на лавочке; смотреть на нее, когда она сидит на репетиции и когда красится; слушать, как она ругается по телефону с начальством или ласкается по телефону с дочкой… С ней было не просто хорошо, с ней всегда, каждую минуту, мгновение каждое было счастливо. Можно так сказать: «было счастливо»? Думаю, нельзя, люди не используют подобный оборот, поскольку не понимают его смысла. Я вот тоже только сейчас впервые начал понимать, что это значит: «с человеком было счастливо».

Я обожал ее тело, которое, казалось, специально было создано для меня, даже родинки на этом, абсолютно белом теле, меня не раздражали. Правда, бесил ежик на голове, но я никак не мог улучить момент, чтобы уговорить ее отращивать длинные волосы. Алина словно почувствовала это, и однажды, когда мы лежали рядом, вдруг сбросила одеяло и спросила:

– Посмотри на меня внимательно, и скажи, что тебе во мне не нравится.

Я начал что-то такое лепетать про женский идеал и прочую романтическую муру. Лепетал не долго, Алина резко прервала меня: она схватила мою руку и начал класть ее себе на шею, на грудь, на бедра. При этом она задавала один и тот же вопрос:

– Здесь нравится? А здесь нравится?

Мне почему-то стало неловко, и от неловкости я выпалил:

– Ты не можешь волосы отрастить длинней?

– Волосы? – Алина на мгновение задумалась. – Могу. Почему нет? Я все равно сама собиралась. Кстати, длинные волосы мне очень идут.

Вот так легко решались с ней все проблемы.

Едва только забрезжила черным туманом проблема: а где мы, собственно говоря, будем встречаться; едва лишь я начал страдать по поводу того, что абсолютно не хочу ездить с Алиной в одноразовые гостиницы, – как выяснялось, что та самая подруга, в чьей квартире мы провели три прекрасных дня, уезжает довольно часто и что есть еще подруги с квартирами, и они дают ключи без проблем, и вообще: это не моя проблема, да и что это за проблема, если вдуматься… Нет ничего такого, внушала мне Алина, из-за чего стоит переживать, поскольку главное, что мы – вместе, а остальное в сравнении с этим – ерунда.

Но было одно переживание, которое накрывало меня постоянно, накатывало вечерами, когда я сидел у телевизора или лежал на своем матраце, глядя в отвратительно белый потолок. Я мог думать в этот момент о чем угодно, но очень быстро, причем, совершенно не зависимо от самого себя начинал представлять, как Алина приходит домой, как муж целует ее у двери, помогает снять пальто, как они сидят на кухне и о чем-то беседуют, глядя друг на друга… Самого мужа я не представлял вовсе, это было аморфное, неясное, непредставимое существо, эдакое «облако в штанах». Да и причем тут вообще муж? Важна была картина семейного счастья, от одной мысли о которой у меня внутри возникал отвратительный холодок и начинало подташнивать. Тошнота становилась сильней, если только я начинал фантазировать, как Алина спрашивает: «Ну, кто первый – в душ?» (почему-то я был убежден, что она спрашивает именно так), а потом они ложатся спать… Неимоверным, надо сказать, усилием воли я заставлял свою фантазию заткнуться, погаснуть, умереть, уснуть, потому что представлять, чем они занимаются в постели, было совершенно невыносимо, а вовсе не думать об этом, тоже не получалось.

Так возникло странное, новое для меня и весьма, признаться, отвратительное чувство, названия которому я не знал. Ну, не ревность же называть его?.. Нелепость сплошная: ревновать свою любимую к мужчине, с которым она прожила больше пятнадцати лет?

Однако если быть откровенным до конца (какое нелепое словосочетание: разве можно быть откровенным до конца или не

до конца?!), но если все-таки попробовать, придется признать, что наличие у Алины мужа, конечно, нервировало, но ощущение счастья не уничтожало. Уж больно оно, ощущение это, было всеобъемлющим, то есть, заполняющим весь объем жизни. Определенная доля тоски и страданий даже как бы высветляла это счастье, от того делая его еще более реальным.

Рядом с Алиной я перестал *не исключать*. Нет, я замечал, конечно, женщин, и когда какая-нибудь полногрудая красотка садилась неподалеку, я, разумеется, обращал на нее внимание, – но я *исключал*. Это было странно и даже непривычно: я абсолютно *исключал* какие бы то ни было отношения с женщинами.

Алина обожала обсуждать со мной других дам. Делала она это страстно, эмоционально, заинтересованно – так, словно сама не имела к женскому полу вообще никакого отношения. И чем больше восторгалась Алина другой женщиной, тем менее интересной казалась мне эта дама и тем отчетливей понимал я, как люблю Алину и до какой степени она мне дорога.

Алина обладала ещё одним, совершенно уникальным даром: мои желания (как, впрочем, и нежелания), она чувствовала до такой степени точно, что подчас мне самому хотелось спросить у нее, что испытываю я в данный момент. В последний раз в жизни такое было только с моей мамой, к которой я, худой и большеглазый ребенок, мог подойти и спросить: «Мам, а что мне сегодня снилось?» Однажды, когда я понял, что этот вопрос нелеп – это точно означало, что я вырос…

Конечно, Алине задать такой вопрос я не мог, хотя подчас как ни парадоксально, и испытывал такое желание. Но вот то, что она чувствовала мои стремления, страхи, комплексы лучше меня самого – это точно. И вообще, сынок, знаешь, что я тебе скажу? Когда мужчина, глядя на любимую женщину, вспоминает свою мать, – это есть верный признак любви. Я бросался к Алине за защитой, и она защищала меня со спокойной несуетностью любящей женщины.

Помнишь, как ты познакомился с ее дочкой Машей? Такая высокая черноволосая красотка, которая все время смущалась? Забыл уже, наверное? И правильно: нельзя же помнить всех красоток, с которыми знакомится парень твоих лет? Да и суть не в этом… Алина привела Машку на «Три сестры», и, когда они сидели у меня в кабинете, влетел ты… По-моему, как всегда, за деньгами, не помню. Меня поразило, что, увидев тебя, Алина тут же незаметно исчезла, поняв, что мне будет не очень ловко тебя с ней знакомить. Она все понимала про меня, даже то, в чем я сам себе не всегда мог признаться.

Обмен душами – это, конечно, слова правильные, и они по–

своему отражают красивую суть любви. Но любовь Алины определялась менее красиво, более банально, а от того, наверное, более правдиво: она растворилась во мне. Она жила со мной одной – моей – жизнью. Когда-то давно так любила меня твоя мама – та, другая Ирина, которая была до болезни, а сегодня наши первые с Ирой годы вспоминаются не как реальность, а как некий, увиденный в юности фильм.

Благодаря Алине, шум про моего «Гамлета» поднялся задолго до премьеры. Она звала на мои репетиции журналистов и критиков. Те писали, снимали, ругали, хвалили, возмущались, восторгались… Моё искаженное вдохновением лицо появлялось на страницах неведомых мне изданий… Короче говоря, поднялся гвалт, который очень нравился моему директору Васе, но довольно сильно пугал меня.

Алина относилась к «Гамлету» как к своему делу, и это было поразительно. Когда я сказал ей: «Спасибо тебе, Алинка, за помощь», – она удивилась совершенно искренне:

– За какую помощь, дурачок? Это просто наша с тобой жизнь. Неужели ты до сих пор не понял, что мы проживаем с тобой общую жизнь? Причем тут помощь?

Никто, никогда в моей жизни не говорил мне таких слов. Я, честно говоря, даже не знал, что такие слова бывают.

Алина сделала со мной самое главное, что, как мне кажется, может свершить влюбленная женщина с тем, кого любит: она научила меня не бояться самого себя и гораздо менее подозрительно относиться к миру, меня окружающему. Это было совершенно новое, удивительное, неясное, но при этом не пугающее, а радостное состояние.

Не знаю, сын, захочешь ли ты быть художником, но если вдруг придет тебе такая блажь в голову, ты должен иметь в виду: художник – любой человек, который занимается творчеством – всегда не уверен в самом себе и постоянно боится того мира, в котором живет. Если бы художник любил окружающий мир, то чего ради создавать ему мир свой собственный – на холсте, на бумаге, на экране или на сцене? Художник внутренне может быть очень силен и даже несгибаем, но в отношениях с окружающим миром он слаб, поскольку мир этот для него всегда непонятен и постоянно воспринимается, как источник неясных угроз. Если бы мир был добр к художнику, то не стоило бы и разбираться в этом мире – на бумаге, на холсте, на экране или на сцене. Художнику всегда кажется, что его не замечают, – и количество званий, наград и славы тут ни при чем. Если бы художник не считал себя незамеченным, то зачем бы ему кричать о себе – на бумаге, на холсте, на экране или на сцене? Но как бы он ни кричал, какой бы

всемирной славы он ни добился, у него всегда ощущение, что его не понимают, или понимают не так, или понимает мало людей.

И только любящая женщина, закрывающая собой весь мир, и, тем самым, концентрирующая этот мир в себе самой, может создать хотя бы иллюзию этого понимания. Только любящая женщина может дать художнику иное самоощущение, подарить ему хоть капельку любви к самому себе. И тогда он начинает совершенно по-иному писать на бумаге или на холсте, создавать мир на экране или на сцене.

Я не знаю, как любят шоферы, врачи, ученые или политики: мир людей этих профессий мне практически неизвестен. Но зависимость любого художника от той женщины, которая рядом с ним, еще с юности пугала и даже бесила меня. Эта любовь делает нас несвободными. То, ради чего живет мужчина – его дело – напрямую и безраздельно зависит от той, кто рядом. Эта какая-то дьявольская придумка: именно творцов сделать абсолютными заложниками любви. А может, Божественная – кто разберет?

Однажды мы сидели с Алиной в очередном ресторане и ели очередную еду, и вели очередные разговоры про театр вообще и «Гамлета», в частности.

И вдруг Алина неожиданно спросила:

– Сколько людей на земле живет, не помнишь?

– Не считал, – отшутился я.

– Семь миллиардов? Девять миллиардов?

– И что?

– И никто… Ты представляешь, никто из девяти миллиардов человек не может посмотреть, как великий режиссер репетирует «Гамлета»! А я запросто могу!

Не только женщины, но и творцы любят ушами. Может быть, потому, что в нас, творцах, так много женского?

Надо ли говорить, что благодаря Алине я репетировал «Гамлета» легко и вдохновенно? Кажется, вообще я никогда не работал так страстно, с таким интересом, и так… весело. «Гамлета» – весело? А почему – нет, когда любовь?

Постепенно Алина стала не просто возлюбленной и не просто значимой частью моей жизни, она и вправду превратилась в саму жизнь. Я привык рассказывать ей обо всем, что со мной происходит, и, если вдруг не рассказывал о чем-то, мне казалось, что этого и не было вовсе; привык про всё с ней советоваться и, пока не посоветовался, никаких решений не принимал; привык верить ей во всем, начиная с того, во что мне одеться, и заканчивая тем, как мне вести себя с чиновниками от культуры, чтобы они дали денег на театр. Сто раз в своей жизни я говорил разным женщинам, что мы с ними живем одной жизнью, и только

с Алиной по-настоящему понял, что это такое, когда у влюбленных действительно есть одна, общая жизнь.

Ощущал ли я при этом несвободу? Пожалуй, нет. Даже сам не знаю почему. Вот ведь пока дети не вырастут, они не ощущают несвободу от родителей, и, более того, тянутся к этой зависимости. Наверное, влюбленные – это дети. Вот и всё. И когда Господь говорил, что детям открыта дорога в рай, – не имел ли Он в виду влюбленных?

x x x

Я любил Алину и был любим. Я приходил домой, и Ира вела себя на удивление тихо и даже по-доброму, словно боясь нарушить это мое ощущение счастья. Жизнь проистекала не просто хорошо, но гармонично – чего уж вообще никогда не бывает. Ну, да – бесят мысли об Алинином муже, все эти идиотские фантазии, заставляющие холодеть душу. Ну, да, иногда раздражают артисты, которые никак не могут выучить гениальный текст, нервничают, что он в стихах – тут уж своими-то словами не скажешь, – и не понимают, как им повезло, что есть возможность произносить слова, написанные Пастернаком. Ну, сердце ещё начало покалывать, чего раньше не бывало, но ведь не сильно, так, словно напоминая, что оно есть. Ерунда ведь всё это. Е – рун – да! Мелочи.

Так отчего же я не просыпаюсь каждое утро с ощущением счастья и восторга? Почему будущее страшит меня больше, чем радует настоящее? Ну, да, мы русские – люди напуганные, нас будущее всегда страшит, не верим мы ему и на него не надеемся. Всё так. Но в моей-то жизни всё хорошо сейчас… И это «сейчас» может долго длиться, почему нет? Ну, и где радость? Где она, черт меня дери!

Иногда мне казалось, что такая жизнь, когда дом и любимая женщина находятся в разных местах, стала для меня настолько привычной, что любое иное существование будет мне казаться чужим, непривычным, а, значит, не нужным. Если вдруг, неожиданно оказаться честным с самим собой, то выяснится: я боюсь будущего потому, что не могу представить себе его счастливую картинку. Ну, не рождается у меня образ счастливого будущего!

Вот я прихожу в дом, где меня встречает Алина. И у нас все прекрасно. Я ни от кого не жду смсок, и сам их не отправляю… Как говорится: я радостно бегу из дома на работу, а с работы – домой. И, кроме дома и работы, нет у меня никакой иной жизни. И что? Мне не становится скучно? Я спрашивал себя: а ты сможешь жить нормальной, честной, гармоничной жизнью? У тебя – получится? И я старательно делал вид перед самим собой – зачем? – что не знаю ответа на этот вопрос.

А потом Алина сказала такое, что я не сразу смог в это поверить…

Да! Как-то мы ужинали вместе с мамой. Это было удивительно: мы всё чаще ужинали вместе, и разговаривали, и не

рождалось у меня ощущения «беседы с врагом». И вот сидим мы, едим картошку правильно, как я люблю, пожаренную, и вдруг Ирина произносит как-то виновато и взволнованно:

– Я что-то боюсь за твоего «Гамлета».

Вот это да! Оказывается, Ирина про меня думает и даже переживает за меня. Невероятно! Я не нашелся, что ответить и голову опустил, словно меня застукали за чем-то неприличным.

А Ира продолжала:

– У меня не то, что предчувствие, а волнение какое-то… У тебя там все в порядке?

Я не знал, что ответить. И нерешительно промямлил:

– Вроде, да.

Как интересно… Невероятно… Непостижимо практически… Оказывается, я могу сидеть со своей женой и переживать – вместе с ней! – по поводу моего дела. Я был уверен, что такого в моей жизни никогда больше не будет. Вдруг, непонятно с чего и как, возникла другая Ирина, *Ирина до болезни.*

И я почему-то очень испугался.

Ну вот. А потом Алина сказала такое… Нет, она даже не сказала, она прислала смс…

Да! Тут еще удивительное случилось… Ну, не то, чтобы удивительное, но – таинственное, странное. Мы сидели с мамой на кухне, и вдруг выключился свет. Ты знаешь, как у нас бывает: раз! – и полная темнота. Тебя дома не было, мы сидели с мамой вдвоем, причем, она сидела спиной к окну, из окна лился робкий ночной свет, и от этого мамина рыжая голова начала светиться. Это, было фантастически: густая темнота и рыжий огонь.

– Надо искать свечки, – сказала мама и встала.

Вместе с ней поднялся рыжий костер.

– Сядь!

Я крикнул так громко, что от неожиданности мама села.

Рыжий костер опустился.

Во всем этом было что-то мистическое, таинственное, нездешнее. Мы сидели вдвоем на кухне, и, на самом деле, казалось, что больше в мире нет никого: только мы, объединенные темнотой. Мы сидели и молчали вместе.

Мы вместе сидели и молчали. И мама светилась.

А потом вспыхнул свет.

– Спокойной ночи! – мама подошла ко мне и поцеловала.

Я попытался схватить ее руку. Но мама резко отошла. Интересно, если бы она не отошла, что бы произошло дальше? А так, всё – как всегда: она пошла в свою комнату, я – на свой матрац.

Телефон мигал, намекая на то, что у меня есть

непрочитанное сообщение. И я знал – от кого: у нас с Алиной была традиция желать друг другу спокойной ночи.

Я взял телефон, признаюсь, без любопытства. Я знал, что я прочту. Я ошибся.

«*Любимый, я про всё рассказала Сереже. Про нас. Мы разводимся»,* — прочел я. Поднял глаза. Зачем-то посмотрел в окно. Еще раз прочел. «*Любимый, я про всё рассказала Сереже. Про нас. Мы разводимся»*

Написал: «*Я люблю тебя».* Потому что я не знал, что ещё писать, а эти три слова – они всегда кстати, и, главное, женщина всегда умудряется прочесть в них именно то, что ей в данный момент хочется прочесть.

Единственным и всеобъемлющим чувством, пожиравшим меня в тот момент, была злоба. Откровенная, ничем не прикрытая, ничем не замаскированная. Мне не нравилось это чувство. Я злился на злобу, которая родилась во мне, я ненавидел ее, ненавидел себя за неё. Но она расползалась по мне, и я ничего не мог с ней поделать. Эта противная, неправильная, злая, мерзкая злоба была сильней меня!

Как же так, а? – обозленно спрашивал я себя. – Ну, как же так? Мы ведь хорошо жили, для чего же так торопиться? Зачем? Для чего? Какого черта ломать то, чем мы еще не успели насладиться до конца? Мы играли жизнь по определенным правилам, для чего было их нарушать? И что злило более всего: не посоветовавшись со мной? Не поговорив?

Пикнул телефон – смска. *«Родной мой, я знала, что ты меня поймешь. Не ругай меня, и, главное, помни: то, что я сделала – ни к чему тебя не обязывает».*

Зачем же она пишет эти пустые, ничего не значащие слова? Что я, не человек, что ли? Не мужчина? Она ведь развелась, чтобы выйти за меня замуж, – это понятно. Для чего ж ещё? И, главное, не обязывает… Обязывает и еще как! Что, мне теперь жизнь свою переделывать, что ли?

Я вспомнил, как совсем недавно – или давно? ничего не разберешь с этим временем – я решил, что не ломаю свою жизнь просто потому, что мне лень что-то в ней переделывать. А она вот так вот взяла, и – раз! – сразу отрезала. И, главное, не спросила ничего, не посоветовалась… А я ведь всерьез поверил, что у нас – общая жизнь. Всерьез! А она… Даже не предупредила, и – раз! А я как будто и ни при чем совсем…

Моя злость кормилась обидой, воспоминаниями о прошлом, страхом за будущее, причмокивая от удовольствия, и всё разрасталась, разрасталась, разрасталась… Я понимал, что злость надо унять, – и потому не звонил, чтобы не сорваться. Старался

писать добрые смски.

Я: *«Когда мы увидимся?»*

Алина: «*Как можно быстрей. Завтра после репетиции?»*

Я: «*Хочешь, я отменю репетицию?»*

Зачем я это предложил? Что за дурацкое благородство? Она же согласится наверняка. Напишет что-нибудь, что, мол, неудобно, и согласиться.

Алина: «*Это ужасно и неправильно. Хочу».*

Я: *«Хорошо. Не волнуйся. Ты всё сделала правильно».*

Алина: «*Я хочу завтра утром тебя забрать и куда-нибудь увезти».*

Я: «*Договорились».*

Всю ночь я пытался усмирить свою злость. Злоба утихомирилась лишь утром, видимо, устав от бессонницы. Я так устал за эту ночь: меня измотали монологи, которые я произносил Алине и которые она никогда не услышит. Сил не оставалось ни на что, даже на то, чтобы нервничать.

Утром я отменил репетицию. Видимо, я говорил таким голосом, что моя замечательная помощница режиссера даже не стала спрашивать, что случилось, лишь поинтересовалась робко про завтра. Я ответил: завтра все будет.

А сам подумал некстати: ничего уже завтра не будет. Что за бред? Что за апокалиптические красивости?

Едва я сел и захлопнул дверцу ее машины, Алина рванула так, будто участвовала в гонках. Ни слова не говоря, она начала петлять по улицам, заехала к каким-то гаражам, по дороге едва не сбив ни в чем не повинную кошку, заглушила мотор, и, отстегнув ремень безопасности, бросилась на меня и начала истово целовать.

Когда она немножко успокоилась, посмотрела на меня своими некрашеными глазами и вздохнула:

– Ну, прости, прости, прости. Просто я очень по тебе соскучилась.

Я не знал, что надо делать. Я понятия не имел, что надо говорить. Я сидел и тупо смотрел на то, как большой мужик выводит из гаража своё маленькое «Пежо», как он запирает двери гаража, оглядываясь по сторонам, будто проверяя: не следят ли за ним? Как, сев в машину, тут же набирает номер на мобильнике, кричит: «Алло!», и лицо его тот час освещает сальная улыбка. «Бабе своей звонит», – зачем-то подумал я.

– Ну, вот, – выдохнула Алина. – Я ему все сказала. Мы, как ни странно, довольно спокойно поговорили. Без истерик. Мы решили, что с сегодняшнего дня Сережа будет жить на даче.

– А потом? – выдохнул я.

– Потом разведемся, – Алина зачем-то поправила волосы, которые уже стали заметно длинней. – Я только еще раз хочу сказать, что тебя это вовсе ни к чему не обязывает. Вовсе ни к чему. Просто выяснилось, что я не умею врать, понимаешь?

Я обнял ее и поцеловал. Потому что, когда не знаешь, что делать с женщиной, – ее нужно обнять и поцеловать. И это никогда не окажется лишним.

Алина еще тесней прижалась ко мне и посмотрела на меня благодарно. Она никогда и ничего не говорила мне про жизнь с мужем. Я даже не знал, сколько ему лет, где он работает, – ничего не знал. И только однажды, не помню уж почему, рассказала, что они с мужем часто садятся в машину и просто так ездят по городу: говорят о чем-то незначащем, слушают музыку… А в последнее время муж всё время удивлялся, что они так давно по городу не ездили. К чему она это сказала? Совершенно не помню…

Я сидел в машине, обнимал Алину, целовал ее, даже шептал, вроде, что-то про любовь… А сам все пытался понять, как такое может быть?.. Ну, правда: живут себе люди полтора десятка лет, воспитывают дочь, им не скучно ездить по городу на машине и о чем-то там трепаться… Нормальная у них, в общем, жизнь, – хорошая, славная. И вдруг – раз! – как отрезало друг от друга, причем безо всяких ссор и скандалов. Просто она сказала: «Я люблю другого», а он ответил: «Я буду жить на даче». И всё? Всё! Пятнадцать лет этой самой, едва не сбитой кошке – под хвост. Значит, союз их был непрочным, если в момент разлетелся?.. Так ведь? Так? Значит, я не виноват? Я – лишь повод для его смерти. Не было бы меня, он умер бы по какой-нибудь иной причине.

Я честно тебе скажу, сын: я не думал про наше с Алиной будущее. В эти мгновения я про нас с Алиной вовсе не думал. Я, как мог, пытался заглушить в себе стыд, замешанный на страхе. Стыд и страх – вот и все, что я испытывал.

Если честно говорить – то всё. Ничего более.

x x x

Ну, не знаю я про будущее, и, главное – знать не хочу. Сказано же в одной умной книге: «Не надо заботиться о завтрашнем дне, ибо он сам о себе позаботится». Вот и всё. И правильно. Затаился этот зверь-будущее, ждет тебя, к прыжку готовится. А тебе что делать? Разве от будущего можно уберечься или спрятаться? Нет. Вот и хорошо. Вот и живи, понимая это. Вот и не занимайся строительством того, что построить невозможно.

Сказала тебе женщина, что ее развод тебя ни к чему не обязывает – верь этому. Понял? Тому, что сообщила тебе любимая женщина, тому, будь любезен, и верь. И не надо размышлять про завтра, про то, что дальше будет со всей этой ситуацией, как она раскрутится, да как развернется. Как ей, ситуации, надо – так и раскрутится, как ей, родимой, захочется – так и развернется. Тебя не спросит, уж будь уверен. Поэтому живи себе спокойно и… живи. Сегодня же хорошо? Ну, и живи себе сегодня. Что за бред, ей–Богу, ну чего ты все время хочешь засунуть свой нос, куда не просят – в будущее? Нет его, будущего. Нету. Прыгнет на тебя – тогда и начнешь волноваться. Всё. Вот реши так. И так живи, как решил. И – всё!

После того, как от Алины ушел муж, наша жизнь с ней не изменилась совсем. Вообще. Ни на микрон. Мы так же встречались на квартирах ее подруг, так же страстно целовались в машине, она так же приходила ко мне на репетицию, говорила, что я – гений, и смотрела влюбленно.

Я по-прежнему скучал по ее телу и, обладая им… Какое все-таки ужасное словосочетание: «он обладал женским телом»… машиной обладал, домом и женским телом… Бред какой-то!.. Так вот, обладая ее телом, я испытывал невероятное, животное счастье… Тоже те еще слова: «обладая женским телом, он испытывал животное счастье». Какой ужас! Но ведь – правда! Правда, черт побери! Казалось бы, только за одни эти мгновения, о которых невозможно сказать изысканно, да и не надо, потому что мгновения эти не для описания созданы, а для ощущения счастья и восторга… Так вот, казалось бы, только за эти мгновения можно было бы настоящее полюбить и не соваться в будущее… И, главное, не комплексовать по поводу зыбкости наступающего, а радоваться наступившему!

С Ирой, к слову, тоже ничего не изменилось. Она по-прежнему была удивительно добра, и я бы даже сказал: предупредительна со мной. Когда однажды Ира спросила: «Ну, как тебе мои котлеты? Согласись, ведь никто не умеет делать котлеты так, как я», – я даже подумал вдруг, что она хочет наладить жизнь со мной. И ужасно испугался этой мысли, потому, что следом уже бежал вопрос: «А как же Алина? Она, значит, разрушила со своим мужем, а ты со своей женой будешь строить? Хорошо ли это?» И на этот вопрос ответ не отыщешь, поэтому лучше его совсем и не ставить. Ведь вопрос возникает только, если задуматься о будущем, а коли не задумываться, то и не возникает.

Как же тебе объяснить, почему Алина была вовсе не похожа не всех других женщин? Ну вот, представь, что мужчина – это

автомобиль, и тогда все эти лизы-марины – бензин, который, конечно, для жизни необходим. Однако чем дольше едешь, тем меньше остается топлива, и рано или поздно приходится искать новую заправку…

Алина – мотор. Она – незаменима, благодаря ей двигаюсь я по жизни. После твоей мамы… Ты уж извини, сынок, но это – правда… Так вот, после твоей мамы она – первая женщина, рядом с которой мне хочется стареть: жить старичками в домике где-нибудь у холодного моря, сидеть в толстых вязаных свитерах, и чтобы большая собака, вроде Кузьки, лежала у ног и смотрела преданно.

Я люблю холодные моря: в отличие от морей теплых, в них нет подобострастия. Они не стелятся к ногам: мол, заходи, человек, в меня, во мне хорошо, не пожалеешь; они ведут какой-то свой бесконечный, вечный, величественный рассказ, который человеку не понять. Жаркие моря – товарищи, призывающие к игре; холодные моря – учителя, пророки, приглашающие к раздумьям о вечном.

Когда совсем надоест носиться по жизни (а когда-нибудь уже должно надоесть), было бы здорово стареть с Алиной на мрачном берегу холодного моря, гулять вдоль берега с большой белой собакой, смотреть по телевизору какую-нибудь ерунду и, если уж совсем станет скучно, писать книгу мемуаров под девизом: «Я и другие гении». В сущности, эта мечта не была совсем уж неизбежно невыполнимой. Я постоянно отказываюсь от постановок за границей, боясь надолго бросить театр на директора Васю, а мог бы перестать отказываться. И заработал бы на домик у холодного моря, и жили бы мы там с Алиной, и было бы нам счастье.

Но – Ира. Но – ты. Но – мой дом. Ира ведь – не совсем здоровый человек, а как можно оставить не совсем здоровую жену, которая к тому же – мать твоего любимого сына? Если бы я поступил так, я бы бесконечно переживал, что я, мол, такой бессовестный, отвратительный человек, а не поступая так, не делая этого, – я страдаю из-за несовершенства мира, что, конечно, куда легче, и, честно говоря, даже в чем-то приятней.

Надо сказать, что Алина не только никогда не предъявляла мне каких-нибудь претензий, но ни разу не сказала мне, что хотела бы жить со мной. Ни разу. Никогда, даже намеком, даже шуткой какой-нибудь не упрекнула меня Алина за то, что я не ухожу от вас. Более того, ей, в отличие от всех этих «лиз-марин», я запросто мог рассказывать и про Иру, и про тебя. Она выслушивала внимательно, без обиды или злости, и давала советы.

Скандалы с мамой все равно периодически возникали, и когда после них я спрашивал Алину: «Ну, почему Ира ведет себя со мной так-то и так-то?», она не посылала меня вдаль, как сделала бы на ее месте любая другая женщина, а выслушивала и даже успокаивала.

Однажды я спросил Алину:

– Ничего, что я тебе рассказываю про Иру, про Сашку? Тебе же, наверное, эти разговоры неприятны?

Она ответила абсолютно серьезно:

– Это ведь часть твоей жизни, значит, и моей тоже.

И тогда я в очередной раз подумал, что эту женщину я не отдам никогда и никому.

Мы и «Гамлета» с ней ставили как бы вдвоем. И дело не в том, что она постоянно меня хвалила, хотя это и важно: репетиции – постоянные, мучительные сомнения. И все-таки куда существеннее то, что впервые в моей жизни рядом со мной на репетициях был единомышленник. С кем можно посоветоваться. Поделиться непониманиями и радостями. Обсудить то, что было найдено только что. Перед кем можно похвастаться своими открытиями. Так вышло, что с первой репетиции Алина стала не зрителем, а соратником.

Однажды после репетиции мы ехали в квартиру очередной подруги, и Алина сказала:

– Ты делаешь Гамлета едва ли не воплощением зла. А ты никогда не задумывался над тем, сколько Гамлета живет в тебе самом?

– В смысле? – не понял я.

– В каждом из нас ведь живут разные люди, правда? Вот сколько в тебе спрятано того самого человека, который несет зло, оправдывая его умными и красивыми размышлениями?

Я опешил и задал совершенно идиотский вопрос:

– Я тебя чем-то обидел?

Алина была непроницаемо серьезна:

– Речь не об этом. Просто, если Гамлета в тебе слишком много, тогда волей-неволей ты начнешь ему сочувствовать, ведь так? Вы сольетесь с ним, и тебе уже не удастся дать ему правильную оценку. Ты говорил сегодня на репетиции, что если зритель будет думать о спектакле хотя бы по дороге от театра до метро, – можно считать, что вы все работали не напрасно. А для тебя имеет значение, о чем именно он будет думать? Ты ведь ставишь философский спектакль – тебе важно, какие выводы сделает после него зритель? Я вот, например, думаю… Ну, не знаю… Режиссер, считающий, что предавать – нормально, никогда не сможет поставить «Отелло», у него не получится роль

Яго и трагедия развалится.

Человек, который несет зло, оправдывая его умными и красивыми размышлениями – это я? Ни фига себе! «Гамлет» – исповедальный спектакль? Ерунда! Нет, нет, не может быть!

Я молчал, не зная, что ответить. И тогда я просто обнял Алину и сказал о том, о чем давно хотел сказать, да все как-то не удавалось:

– А ты знаешь, что я решился на «Гамлета» благодаря тебе? Ты – единственная женщина, ради которой можно ставить такую пьесу. И вообще…

У меня было много еще этих «вообще». Но Алина не позволила мне договорить:

– Вот и хорошо. Только ты подумай о том, о чем я тебе сказала. Мне кажется, это важно.

Мне стало обидно: Алина не поняла важность и серьезность моих слов. Звучит, конечно, глупо, но ведь я сказал ей о сокровенном… Впрочем, кто сказал, что даже такая великая женщина непременно должна понимать сокровенные слова мужчины?

x x x

– У тебя на завтра какие планы после репетиции? – спросила Алина.

Мы сидели в ресторане. Еда радовала своим вкусом, Алина – красотой, «Гамлет» – тем, что уже на днях премьера, в общем, настроение было вполне себе положительным, и потому я ответил лирически:

– У меня планы на тебя.

– Тогда, сэр, позвольте пригласить вас к себе в гости, на обед, совмещенный с ужином. Не возражаете?

Конечно же, я возражал, мне абсолютно не хотелось идти в гости к Алине. Хотя я и понимал, что рано или поздно это случится, но желания не было никакого. Не думаю, чтобы американские летчики, сбросившие бомбу на Хиросиму, жаждали посетить этот город. Вот и я совершенно не хотел оказаться в том мире, который разрушился не без моего участия. И вообще, мне совершенно не хотелось ощущать на себе атмосферу ее прошлой жизни – зачем мне это всё?

Понятно, что этого я не сказал, а наоборот крикнул, как потерпевший:

– С удовольствием! Конечно! Как здорово!

Алина посмотрела на меня печально:

– Слушай, какой же ты все-таки плохой актер! И почему это актеры в твоих спектаклях всегда играют так здорово?

Она вздохнула, видимо, ожидая ответа. Но я молчал. Чего говорить, когда и так все понятно?

Алина снова подняла на меня свои умные и хитрые глаза:

– Думаешь, я не понимаю, что тебе неохота ко мне идти? Но ты ж все равно рано или поздно придешь, чего откладывать? – Она улыбнулась. – Не бойся, в моем доме совсем не так страшно, как ты сам себе наверняка придумал.

Она все про меня знала и понимала! Радовало ли меня это? В общем, – да. Разумеется, такая проницательность немного пугала, но зато и сильно облегчала жизнь.

Дом Алины оказался по-женски аккуратным и чистым. Самое приятное, что в нем ничто не напоминало про мужа. Уж как я ни приглядывался, как ни принюхивался, однако никакого мужчины не ощущалось… Неужто мужской дух может с такой скоростью выветриться из квартиры?

Мелькнула дочка, вежливо поздоровалась и тут же умчалась. Алина сообщила, что у Машки, судя по всему, какой-то серьезный роман, и она испарилась до поздней ночи, если не до утра. Меня совершенно не волновал роман ее Машки, но меня почему-то испугало, что в квартире мы остались вдвоем.

Мы сидели на кухне, беседовали, не помню уж, про что, и поглощали всякие разные вкусности: выяснялось, что Алина умела хорошо готовить. Я очень хотел Алину. Я хотел ее всегда и всюду. Иногда мне даже было трудно с ней разговаривать, потому что мысленно я ее постоянно раздевал. И еще этот тонкий обтягивающий свитер, сквозь который виднелся мой любимый бюстгальтер в горошек. Я так хотел ее, что ловил себя на мысли: я завидую бюстгальтеру…

Какой все-таки русский язык – некстати целомудренный! Ну, разве можно одним словом – «хотеть» – описывать желание бутерброда: *хочу* бутерброд; потребность поехать отдохнуть: *хочу* на море; и невозможность жить без любимой женщины: *хочу* женщину? В результате целомудренность оборачивается пошлостью: я хочу добавки, а после нее я хочу тебя, любимая. Кошмар!

Если честно, то такими мыслями я, как мог, старался отвлечь самого себя от одной проблемы, которую никак не мог решить. Вот я сижу вдвоем с любимой женщиной в пустой квартире, и здесь есть спальня, и в спальне – кровать. Я хочу эту женщину, и мне кажется, что женщина хочет меня. И вот сижу я и решаю проблему: как же мне себя вести?

Мама рассказывала мне, что с моим отцом им очень долго

негде было встречаться, потому что у отца тогда была другая семья, а мама не могла привести его в свою комнату в коммуналке, на единственной кровати в которой умер ее муж. Конечно, я – старомоден, сегодня миром правит закон: «Секс – не повод для знакомства». Но что я могу поделать, если я воспитан так, а не по-другому? Не могу же я меняться от случая к случаю?

Это дом Алининого мужа, в спальне стоит *их* кровать. И хотя, как это бывало всегда с Алиной, туман желания застилал мне весь мир, впервые я совершенно не понимал, как этот туман можно развеять. Чай я пил так медленно, будто хотел отсрочить какое-то неприятное решение. И чем более не по себе мне становилось, тем сильнее и натужнее я улыбался.

Я попросил еще чая. Потом пошел в туалет.

Когда я вернулся на кухню, Алины не было.

Я не успел удивиться ее исчезновению, как она уже появилась на пороге кухни в наглухо запахнутом халате. Я чувствовал, что под халатом ничего нет. Я еще даже успел подумать: интересно, а есть ли исследования о том, как и почему мужчина всегда безошибочно чувствует наготу женщины.

– Пошли, – улыбнулась Алина и протянула мне руку.

Я чуть не спросил: «Куда?», но все-таки сумел удержаться от идиотского вопроса. Она опять решила проблему за меня, решила, как всегда, легко и без напряжения. Мне оставалось только подчиниться ей, что я и сделал с удовольствием.

…Потом мы лежали на огромной кровати и ощущение счастья не отступало от меня, как чаще всего бывало в подобных случаях, а, наоборот, переполняло. У меня не возникало желания отворачиваться и спать, мне хотелось бесконечно сливаться с этим телом, которое, казалось, я любил больше всего на свете. Все-таки по-настоящему можно отдать свое тело женщине только тогда, когда отдаешь его вместе с душой.

– Ты понимаешь, что этот дом может быть твоим?

Алина, как водится, задала вопрос, на который у меня не находилось ответа. Не находилось, потому что не искалось: этот вопрос я боялся сам себе задавать. Алина отодвинулась, зажгла лампочку, висевшую над кроватью, оперлась на локоть, посмотрела на меня удивленно.

– Дружок, – усмехнулась она. – Мой самый любимый на свете мужчина, не чудится ли мне, что ты испугался?

Хорошо или плохо, когда женщина до такой степени тебя понимает? Хорошо или плохо? Одеяло сползло с ее груди, и мне как-то совсем расхотелось разговаривать.

– Чего бы мне бояться? – соврал я.

И выключил свет. А потом включил. А потом опять выключил.

И снова включил. Лицо Алины возникало и исчезало в темноте. Возникало и вновь исчезало, как в плохом кино.

Наконец, мне это надоело, и комната погрузилась в темноту. Но Алина тотчас щелкнула выключателем. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга, а потом Алина произнесла тихо-тихо, почти шепотом:

– А ты ведь никогда не будешь со мной жить. Никогда. Ни здесь, ни в каком ином месте. Никогда.

Я заорал сразу, сходу, без подготовки, так, словно не с любимой женщиной разговаривал, а репетицию вел:

– Нет! Почему ты так думаешь?! Да я вообще не мыслю своей жизни без тебя?! Ты – моя жизнь! Мой смысл!

Кричал я долго и страстно, абсолютно веря в то, что ору. Я вопил про то, что готов немедленно позвонить Ирине и сказать ей, что люблю другую; что Алина открыла мне новый мир вообще и новый мир взаимоотношений между мужчиной и женщиной в частности; что только благодаря ей у меня получается «Гамлет»; что жить без нее и не жить вообще – это для меня одно и то же… Много чего еще горланил я такого, что, как мне казалось, должно заставить Алину броситься ко мне в объятия и непременно с криком: «Прости!»

Но Алина молчала. Смотрела на меня совершенно спокойно – даже без иронии или злости, и молчала. Смотрела так, что я совсем не мог прочесть в ее взгляде, о чем она думает. А я все надрывался и в какой-то момент вдруг понял, что словно хочу удержать ее своим бесконечным криком, хотя она и не говорила ничего про то, что уходит от меня… Она ничего не говорила ни губами, ни глазами.

Даже если ты повторяешь одни и те же слова, они рано или поздно заканчиваются. Я замолчал и сел на кровати, почему-то с ужасом ожидая, что скажет Алина.

…Мы не понимаем других людей! Даже самых близких, самых родных – не понимаем ни фига! Делаем вид, что нам удается разобраться в хитросплетениях их помыслов и поступков, и они делают вид, что разбираются в наших хитросплетениях, но все это – не более чем «нас возвышающий обман», как сказал поэт по другому поводу, но это не важно. Сын мой, если ты – что невероятно – вдруг дочитал это странное послание до этого места, умоляю тебя, запомни: *мы не понимаем других людей*! Никогда! Нам не дано понять, почему другие поступают так или иначе. Нам наивно представляется, будто люди реагируют на наши поступки и будто мы даже умеем эти реакции предсказывать: мол, если мы сделаем то-то и то-то, тогда они ответят нам тем-то и тем-то. Ерунда! У других людей происходит

внутри своя собственная, невидимая и непонятая нами жизнь. Это их внутреннее существование складывается по своим законам, которые с законами внешнего мира почти не связаны. Тем более у женщины… «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», – это написал неведомый тебе поэт Тютчев, и как же он был прав! Нам не дано предугадать, как отзовется наше слово, как отзовутся наши поступки, как отзовутся наши «непоступки», наше действие и наше бездействие.

Мужчина орет на женщину, и это абсолютно убеждает ее в том, что он ее любит. (Впрочем, опять же, одну убеждает, а другую нет). Мужчина объясняется женщине в любви, а она делает из этого вывод, что от него надо уходить. Я вообще удивляюсь, что мы тут еще все не сошли с ума и хоть как-то, но умеем договариваться. Ведь и разум не помогает, и доводы не работают, и логика не действует. Спасает только интуиция – странная гостья из неясного мира, которая одна только и способна подсказать. И никогда, сынок, не говори про свою женщину: «Почему она поступила так? Я ведь всё делал, чтобы она… Я ведь так хотел, чтобы мы… Я ведь ей объяснял, что мы вместе…» Никогда не говори таких слов! Потому что она не поняла, а почувствовала. Женщины знают сердцем и потому ошибаются куда реже, чем мы, мужики, всерьез верящие в то, что умеем обдумать и понять другую жизнь.

Алина встала, оделась… Она умела одеваться так, что мне хотелось на нее броситься: она не просто надевала одежду, а словно бы постепенно и кокетливо уводила из моей жизни наиболее любимые мною части своего обожаемого тела.

– Ну, всё, – сказала Алина, не забыв улыбнуться. – Тебе, наверное, пора. Тебя ведь ждут.

– Меня никто не ждет, – резко буркнул я. – И ты это прекрасно знаешь. Что случилось? Я чувствую, что что-то случилось. Тебе было плохо со мной?

Алина подошла ко мне и погладила по голове. Я сидел, голый, рядом с ней, одетой. И от этого мне почему-то было неприятно. Почему-то казалось совершенно необходимым произнести какие-то слова, и я произнес:

– Знаешь, кто такой мужчина-мудак? Вот если мужчина приходит к женщине и садится пить кофе – он нормальный человек. Если мужчина приходит в женщине, снимает штаны и ложится к ней в постель – он нормальный человек. А вот если мужчина приходит к женщине, снимает штаны и садится пить кофе – он мудак.

Алина расхохоталась.

– Вот я чувствую себя сейчас, как полный и окончательный

мудак.

– И напрасно, – улыбнулась Алина. – Ты ведь сначала выпил кофе в штанах, а потом уж их снял. – Она вздохнула. – Нет, правда, ничего не случилось. А с тобой мне хорошо всегда и везде. – Она помолчала немного и добавила. – Без тебя плохо, а с тобой хорошо.

Я подумал: сейчас так просто уйти будет неправильно, и сказал:

– Чаю дашь? Обещаю хлебать чай, надев штаны.

Мы сидели на кухне, пили чай. Все было вполне по-семейному. Как всегда бывает после секса, мне ужасно хотелось есть, я сметал все подряд, и, с полным ртом, лез на рожон, выясняя, кто из нас кого больше любит и кто без кого категорически не может жить.

Алина в спор не вступала. Смотрела молча и только улыбалась неясной улыбкой. Мне было очень неуютно и от этой улыбки, и от этого взгляда, и я неожиданно для самого себя выпалил:

– Ты жалеешь, что рассказала обо всем мужу?

Алина посмотрела на меня так пристально, будто именно сейчас, в эту самую минуту, хотела понять про меня что-то самое-самое главное.

– Дурачок, – вздохнула она. – Я же тебя люблю.

Я ждал продолжения, но его не последовало.

Тогда я подошел к Алине, поцеловал ее и уехал домой.

x x x

А потом Алина исчезла…

Чем ближе день премьеры «Гамлета», тем неуверенней я себя чувствовал, даже сам не понимая почему. Алины не было, и приходилось самого себя успокаивать тем, что премьерные прогоны всегда плохо действуют на режиссера. Артистам они, конечно, необходимы: чем больше «прогоняют» спектакль, тем уверенней актеры будут себя чувствовать, когда придет зритель. Я честно смотрел на сцену, периодически включал лампочку на режиссерском столике, чтобы артисты видели: я не равнодушен, я при деле, я пишу замечания, потом, стараясь не утерять страсть, произносил эти замечания им. Но на самом деле я совершенно не соображал, что у нас получается. Точно понимал я лишь одно: спектакль мне бесконечно надоел. А это – я знал точно – весьма дурной признак.

Смотрел я на березы и избы, среди которых существовали

герои Шекспира; на моего Игорька, который только на предпоследнем прогоне сумел произнести текст, ни разу не сбившись; на Гертруду в русском сарафане – и совершенно отчетливо ощущал, что меня все это не радует. Почему-то. То ли потому, что я ошибся с концепцией; то ли потому, что концепция стала самодовлеющей, а это всегда плохо; а то ли потому, что рядом не было Алины.

Она исчезла неожиданно, вдруг, безо всякого скандала, что называется – без предупреждения. Прислала мне смску: «*На некоторое время исчезаю из реала – должна подумать*».

Я тут же ответил: «*Неужели нельзя было подождать до премьеры? Ты ведь мне так нужна именно сейчас*».

Минут двадцать я гипнотизировал телефон, умоляя его об ответе. Ответ не приходил… Тогда я схватил телефон и позвонил, – номер не отвечал.

Я написал: «*Так не поступают, давай хотя бы поговорим*».

И снова принялся гипнотизировать ни в чем не повинный аппарат. Телефон гипнозу не поддавался…

Шли прогоны за прогонами. После одного мне казалось, что я поставил нечто гениальное, что я уже запросто могу умирать, потому что создал шедевр, который будут описывать во всех учебниках. Но после следующего я убеждался в том, что концепция – надуманная, Игорь не тянет совсем, спектакль смотреть невыносимо скучно, в антракте половина зрителей уйдет, а те, кто останется, начнут свистеть и орать, увидев, как в сцене сумасшествия Офелия, совершенно голая, пытается согреться, кутаясь в рыбацкую сеть.

Алина исчезла. Она исчезла категорически и абсолютно. И чем дольше я ее не видел – тем сильнее в ней нуждался, тем отчаянней скучал. Я считаю, что в любви не может быть унижений – тут уж одно из двух: либо ты любишь, и тогда ничто не может унизить тебя перед любимым человеком; либо ты чувствуешь себя униженным, и, значит, нет любви. Поэтому я звонил, строчил смски, набирал ее номер с чужого телефона, думая таким образом поймать Алину. Безрезультатно. Женщину, которую надо завоевывать каждую минуту, никогда не дозовешься, она может появиться только сама…

Костюмеры, билетеры, гримерши, охранники – в общем, весь этот театральный люд, – приходил на прогоны и молча расходился. Мне никто ничего не говорил. Перед премьерой любого спектакля по театру всегда начинают бродить слухи-мнения, которые тотчас становятся известны всем, и мне, в первую очередь. А тут – тишина. У меня в жизни, понятно, были неудачи, и я знаю, как в таких случаях на тебя косятся, как

смолкают разговоры, когда входишь в буфет, как какой-нибудь монтировщик вдруг начинает смотреть на тебя так, словно ты – больной. Я проходил через все это. Ничего подобного сейчас не было. Просто – тишина.

После генерального прогона мой Вася зашел в кабинет, улыбнулся как-то виновато и нерешительно произнес: «Смело. Голая Офелия мне очень понравилась. Жаль, конечно, что в пьесе так мало женских персонажей… Не знаю, будет ли ходить народ, не знаю… Но критику ожидайте серьезную, и, не убежден, что всегда лестную».

Даже, обладая мощной фантазией, этот отклик сложно было счесть положительным.

Алина однозначно и категорически не возникала. Я, конечно, скучал, переживал, гипнотизировал мобильник, по ночам придумывал разные монологи, которые собирался обратить к ней. Я понял вдруг, что Алина – это как бы фокус моей жизни. Не в смысле – иллюзия, просто с ее помощью я словно наводил резкость на собственное существование: понимал, что важно, а что – не очень; на что стоит тратить силы и нервы, а на что – нет. И вдруг картинка жизни словно расплылась, как в расфокусе, превратилась в большое желтое пятно, в котором – ничего не видно, и потому – ничто не важно. Видимо, когда любовь так внезапно исчезает, жизнь мужчины становится туманной.

Таким же туманным, как вся жизнь, мне казался и мой Гамлет. Каждый раз, садясь после очередного прогона в машину, я думал: «Надо бы поехать к Алине», – и не ехал почему-то. Впрочем, даже знаю – почему: очень боялся первого мгновения встречи, когда Алина откроет дверь и увидит меня на пороге. Что я ей скажу? Просто брошусь обнимать? А если дверь откроет Машка, а Алины вообще дома не окажется? И потом я не помню код подъезда – и что делать? Стоять и ждать, пока кто-нибудь войдет? Можно бы, конечно, приехать утром и подловить Алину, когда она сама выйдет из дома. Но не получится: у меня эти чертовы прогоны. А потом, если она бросит мне: «Привет! Рада тебя видеть, но у меня – дела», – и сядет в свою машину – что я буду делать?..

Наверное, это все – смешные вопросы для пятидесятилетнего мужика… И что? Они ведь были, они ведь мучили. И я никуда не ехал.

После очередного прогона ко мне неожиданно подошла секретарша Оля и смущенно сообщила, что ей очень понравился, как она выразилась: «Ваш Гамлет». Она несла какие-то глупости, вроде: «Вы знаете, это очень нужный сегодня, очень современный спектакль», – смотрела, однако, искренне. Я вдруг увидел: у Оли –

красивые, и, что особенно удивительно, умные глаза. Видимо, от смущения Ольга долго не могла остановить поток слов, и в этом потоке я вдруг начал вылавливать то, что вполне можно назвать словом «мысль». Я посмотрел на свою секретаршу, бывшую актрису, и подумал: а почему, она, собственно, не играет на сцене? Но тотчас отогнал от себя ненужные мысли.

Дома тоже стало как-то нехорошо. Я приходил домой нервный – и из-за спектакля, и из-за Алины – и еще не известно, из-за чего больше. Как бы странно, и даже, наверное, цинично это ни звучало, но Алина цементировала нашу семью.

Знаешь, я давно заметил странную и по-своему ужасную закономерность: если у тебя с возлюбленной все хорошо, тогда и с женой – все в порядке. Но стоит поругаться с одной, тотчас начинаешь скандалить и с другой. Это странно, непостижимо, весьма, признаться, мерзко, но это – так.

Я очень злился на Алину. Даже не потому, что она исчезла. В конце концов, она ушла от мужа, получила в качестве «не подарка» меня, который от жены, наоборот, не уходил… Короче говоря: масса поводов задуматься о жизни. Но как она могла испариться в такой важный момент моей жизни! Понятно ведь, что рано или поздно мы помиримся: куда ж мы денемся друг от друга? Так неужели нельзя было эти «раздумья вне реала» отложить на после премьеры? Это же наш «Гамлет», общий! Я начал его ставить, благодаря ей, я ставил его – ею… Она ведь не меня предавала, она предавала наше общее дело! И когда она вновь появится в реале – мне будет не так-то легко ее простить.

Ну, чего ей не хватало? Чего? Я ведь принадлежал ей целиком – всеми кишками своими, всей своей душой, и телом своим, и делом. Мы жили вместе, жили друг другом, разве что – ночевали под разными крышами. И вот эти «разнокрышные ночевки» перевесили и любовь ко мне, и необходимость поддерживать меня, когда я ставлю, быть может, главный спектакль своей жизни? Неужели и Алина тоже любила не меня, а меня без жены? Неужели – и она? Нет, ей-Богу, мне понадобятся некоторые усилия, чтобы простить ее, когда она вернется…

Впрочем, я уже слишком взрослый дяденька и слишком хорошо знаю, что никакая, самая невероятная женщина, не сможет относиться к делу своего возлюбленного как к собственному. Оно важно ей лишь до той поры, пока хороши отношения, но стоит им ухудшиться, а то и вовсе закончиться, – работа мужика тут же становится для дамы малозначительной и малоинтересной. Я понимаю, почему так происходит: женщины не умеют рассматривать мужчину по частям – это, мол, он сам, это наши отношения с ним, а это вот его работа. Женщина либо

принимает мужчину целиком, либо, если ссорится, то ссорится со всем тем, что есть он: с его характером, с его работой, с его друзьями… Это всё понятно. Но всё равно бесит, потому что «выяснялки отношений» женщины всегда устраивают в самый неподходящий момент.

Успокаивало меня только то, что Алина наверняка придет на премьеру. Не сможет не прийти, хотя бы из любопытства. Тогда-то мы с ней и поговорим, и помиримся, и я, конечно, ее прощу, и мы решим, как нам теперь жить, чтобы не доводить друг друга до ссор.

Премьера прошла успешно. Когда открылся занавес, и зрители увидели русский пейзаж – они ахнули и как-то сразу стали смотреть. Спектакль шел в хорошем темпе, мне показалось, что в зале никто не скучал. Где-то в середине первого акта актеры перестали премьерно трястись, и, вроде бы, случилось то, что и являлось самым главным: шекспировский текст ожил, трактовка превратилась в сюжет, стало интересно.

В антракте очередь в гардероб не выстроилась, ну, разве что ушла пара-другая зрителей… Не страшно. Так всегда бывает. Овацию нам устроили неимоверную, мощную, искреннюю. Нас долго не отпускали. Я выходил кланяться несколько раз, изо всех сил стараясь улыбаться так, словно я – голливудская звезда на какой-нибудь подходящей к случаю красной дорожке.

На банкете произносили всякие разные слова про новое прочтение… художественную смелость… ожившего Шекспира… И прочую умную галиматью, которая не имеет никакого отношения к спектаклю, однако, режиссеру всегда приятна. Особенно меня рассмешил тост одного известного критика, который предложил выпить за исполнителя роли Гамлета, на полном серьезе утверждая при этом, что такого интеллектуально наполненного Гамлета он лично не видел на сцене никогда.

Все шло, вроде бы, хорошо. Но ощущения победы почему-то не рождалось. Своей трактовкой самой знаменитой пьесы в мире я боролся с Шекспиром. Так вот, хоть ты тресни, не возникало у меня уверенности, что из этой битвы я вышел победителем.

А может быть, не ощущал я себя победителем потому, что Алина так и не пришла на премьеру? Я очень испугался. Я впервые подумал, что могу ее потерять. И решил, что завтра, после второй премьеры и второго банкета поеду-таки к ней домой. Посреди ночи. Я больше не выдержу молчания. Я подойду к двери ее квартиры, позвоню, она откроет, я ее увижу. А это уже немало, это даже очень много: я ее увижу. Дальше – как пойдет. Ведь наверняка как-нибудь, да пойдет. Я ее увижу, и как-нибудь дальше пойдет жизнь. Вот это важно: увижу Алину, и жизнь

пойдет дальше…

И только, когда я уже ехал на служебной машине домой, я вдруг понял, что не видел на премьере твоей мамы. С тех пор, как мы познакомились, Ирина впервые не пришла на мою премьеру. Поверишь ли, но у меня не возникло никаких предчувствий. Скорее автоматически, нежели от волнения, я набрал мамин номер: абонент оказался не доступен. «Спит, наверное, абонент», – подумал я совершенно спокойно.

Никаких недобрых предчувствий не возникло, и когда я вошел домой, и когда зажег свет и ощутил странную пустоту квартиры, и даже, когда вешал пальто в шкаф и не увидел маминой верхней одежды.

Я зажег свет на кухне. Посредине пустого стола лежал белый лист бумаги, на котором прекрасным маминым почерком был написан какой-то текст. Я сразу понял, о чем он, но испугался своей догадки и потому довольно долго стоял, не читая и зачем-то поглядывая на дверь маминой спальни, словно ожидая, что она выйдет оттуда. Думаю, что ты читал это письмо. Впрочем, может быть, и нет. В любом случае, я его перепишу для тебя.

Итак, вот, что ожидало меня, когда я вернулся домой после премьеры «Гамлета».

«Мой дорогой, близкий – чужой человек! Я знаю, что ты обожаешь театральные эффекты в жизни. Ну, как? Я не подвела тебя? Согласись: уйти от мужа в день премьеры, да еще не какой-нибудь, а «Гамлета» – это эффектно. Всю жизнь ты хотел быть непохожим на других, не таким, как все. И снова согласись, что я и тут помогла тебе: мало найдется в мировой истории мужчин, от которых жена уходила в день премьеры великой шекспировской трагедии.

Да, мой дорогой, я ушла от тебя. Наверное, надо было сообщить тебе об этом лично, но мне очень не хотелось того, что ты называешь «выяснялками отношений». Ведь «выяснялки» эти так банальны! А ты у нас терпеть не можешь банальностей. Ты ведь у нас – художник!

В последнее время я старалась быть с тобой доброй и даже – о, Боже! – ласковой, именно потому, что очень надоели наши скандалы, и мне, в моем приподнятом настроении, ужасно их не хотелось! Правда, совсем уж в последние дни ты стал каким-то болезненно нервным и моя доброта давалась мне с трудом. С бабой, что ли, очередной поругался? Не волнуйся – помиришься. А нет – так, уверяю тебя, другую найдешь. Однако оцени – я ни разу не сорвалась: по многолетней привычке жены берегла тебя перед премьерой.

Я видела твоего «Гамлета» на генеральном прогоне. По-

моему, каким-то удивительным образом ты умудрился меня не заметить. Видимо, когда мужчина перестает любить женщину, она превращается для него в невидимку. Прости, но, по-моему, ты поставил очень плохой спектакль, в нем все подчинено твоей, весьма надуманной, концепции, и потому все актеры, словно фанерные, неживые. Подумай, может быть, ты сможешь как-то оживить их? Еще раз прости, но я не видела ни одного твоего спектакля, где бы актеры играли так ужасно.

Наверное, мне не надо было тебе всего этого писать, но за столько лет я привыкла оценивать твои работы. Когда-то мои оценки были для тебя важны…

Я ушла не погулять, и не просто так. Я ушла от тебя – к хорошему человеку. Он – иностранец, который работал в России, а теперь уезжает к себе домой и зовет меня с собой. Ему не потребовалось долго меня уговаривать: рядом с ним я чувствую себя женщиной, прости за банальность. А, кроме того, я не могла не воспользоваться шансом уехать из страны, которая надоела мне так, что, выходя каждое утро на улицу, я отчетливо понимала, что у меня портится настроение. Ты знаешь, дорогой, мне иногда кажется, что наша Родина обречена на то, чтобы на протяжении всей своей истории ходить по болоту и бесконечно искать из него выход. В этом и есть наша национальная идея: тратить всю энергию на то, чтобы искать выход из болота, но так никогда его и не найти.

Зачем я тебе все это пишу?

Я уверена, что мы не станем врагами. Мы будем с тобой встречаться, общаться, в конце концов, у нас с тобой есть сын. Возможно, ты даже приедешь ко мне в гости со своей новой женой. Зная тебя, я никогда не поверю, что у тебя нет кого-нибудь на примете. Ну, да ладно – это не моего ума дело, как говорится.

Зло на тебя прошло – осталось равнодушие. Согласись, что жить с человеком, ощущая к нему только и единственно равнодушие, невозможно. Я никогда не смогу простить тебе того, что ты предал меня после моей ужасной болезни. Именно в тот момент, когда я особенно нуждалась в поддержке близкого человека, ты отошел от меня. Я понимаю, что со мной, наверное, было трудно, да и сейчас нелегко. Но иначе, как предательством, я не могу это назвать. Согласись, что я права.

Теперь о сыне. Сашка влюблен и, по-моему, нешуточно. Он собрался жениться. Не отговаривай его – это совершенно бессмысленно. Кстати, не исключено, что они будут жить в нашей квартире. Девочка Сашкина из интеллигентной семьи и мне вполне понравилась.

Я прошу тебя об одном: будь, пожалуйста, к нему

внимательней. Мы оба не заметили, что он вырос и его волнуют уже совсем не детские проблемы. Поговори с ним хотя бы о том, куда он собирается поступать после школы. Думаю, тебе это будет интересно и даже, отчасти, удивительно.

Не хочу говорить тебе мелодраматических слов про «спасибо за прожитые годы», «будь счастлив» и так далее. Поверь, мне горько от того, что нам не удастся стареть вместе, но, видит Бог, это не мой выбор. А стареть в одиночестве в стране, где на людей плюют с той же легкостью, как в мусорную корзину, – это не для меня.

Мы близкие чужие люди, надеюсь, такими же и останемся. Годы, прожитые вместе, не выкинуть. Не будем желать друг другу зла.

Твоя бывшая жена

Ирина».

Я зачем-то прочел письмо два раза и зачем-то подумал, что никогда не знал, как здорово, оказывается, твоя мама умеет излагать свои мысли. Я встал из-за стола, прошелся по комнате и понял: единственное, что я сейчас хочу – выйти на балкон и выть.

Но я никуда не вышел, а открыл холодильник. В большой тарелке лежали котлеты. «Последние котлеты, сделанные Ириной», – подумал я. Я ел котлеты автоматически, без желания, совершенно не ощущая их вкуса, бесконечно думая одну нелепую мысль о том, как все-таки удивительно создана женщина: уходя от мужа, с которым прожита огромная жизнь, она напоследок жарит котлеты.

Я съел всё. И даже тарелку вымыл, словно для того, чтобы свидетелей не осталось. Прошел по квартире. Зашел к маме в спальню. Зачем-то подумал: «Так вот почему она со мной так хорошо в последнее время общалась. Напоследок… И эти ужины, и смех вместе… Все было – напоследок».

Мысли думались совершенно самостоятельно, словно отдельно от меня. Я не мог себе представить, что от меня ушла жена. В голове не рождалась картинка «Жизнь без Ирины». Зачем-то я опять набрал Ирин номер. Слова «абонент временно недоступен» прозвучали как-то особенно противно.

Я не мог себе представить, что мы не будем больше с ней ругаться, видеться, разговаривать. Что она исчезнет из моей жизни. Я не то чтобы расстраивался по этому поводу или горевал – просто не мог себе этого представить. Наверное, если бы в нашем доме случился пожар, я бы так же долго не мог поверить, что привычного мне дома больше не существует.

Я решил написать смску Алине и даже написал: «*От меня ушла жена*», но отправлять не стал. Объяснить этого не могу, но

был совершенно уверен: отправлять такое сообщение сейчас – отвратительно.

Вроде бы, я должен был радоваться и не выть, а вовсе даже орать от восторга, раз уж случилось то, о чем я мечтал втайне и не втайне: от меня ушла жена, я остался одинокий, несчастный, брошенный… Но почему-то мне было не радостно, а страшно. Я не понимал природу этого страха, не мог объяснить себе, чего именно я боюсь. Так бывало в детстве, на даче, когда родители клали меня спать, а сами уходили прогуляться перед сном. Я лежал, одинокий, и боялся, покуда они не возвращались, и только тогда засыпал. Сегодня мне ждать было некого: мама ушла от меня, а ты, судя по всему, остался у своей пассии…

Ира ушла от меня… Как это? Поезд отошел от перрона… «Вагончик тронется – перрон останется…» Перрон тронется, когда от него отойдет вагончик… Когда от перрона отойдет вагончик, у перрона отъедет крыша… Ира ушла от меня к другому, иностранному мужику… И она теперь будет спать с ним и делать с ним все то, что она делала со мной… Об этом вообще невозможно думать.

Ира ушла от меня к другому, и теперь она будет жарить ему котлеты, смеяться с ним на кухне, класть ему руки на плечи и спрашивать его: «Как дела?» Она будет спрашивать его: «Как дела?» и ждать ответа! Ей будет интересен его ответ… Какой ужас! Что ж это получается? Получается, что жить с мамой так, как мы жили с ней последние годы, лучше, нежели вовсе без нее?

Я страдаю? Да, я страдаю. По чему же я страдаю? Не – «почему», а именно – «по чему», в два слова. По чему именно я страдаю? По ушедшей любви? По привычной жизни? По ушедшей молодости? По тому, что я совершенно точно знаю: я никогда не смогу окунуться в любовь так бесшабашно, как это было с твоей мамой? А, может, я более всего страдаю по самому себе, который ушел вместе с твоей мамой и больше уже никогда не вернется?

Бред, чушь, суета! Я слишком устал. Черт возьми, сегодня у меня была премьера «Гамлета», которую я отмечаю один. А, может быть, права Алина: во мне слишком много гамлетовской мерзости, вот и остался я в одиночестве? Почему один? Можно позвонить Алине. Вот так вот среди ночи взять и позвонить…

Все – спать. Гамлетовские вопросы и ответы оставим на завтра. Как и выяснялки с Алиной. Я, конечно, пошлый человек, но всякой пошлости должна быть граница: бросаться к любовнице в день, когда от тебя ушла жена – это за границей пошлости.

Вдруг я подумал, что могу сегодня спать на маминой кровати. Я вообще могу выбросить свой матрац и превратить ее комнату в свою спальню, и тогда на старости лет у меня будет

отдельная спальня и отдельный кабинет.

Подумав так, и, улыбнувшись своим мыслям, я пошел в свой кабинет, лег на матрац и на удивление быстро уснул.

x x x

Как прошла вторая премьера, я не помню абсолютно. Причем тут спектакль? Причем тут Гамлет? Я был занят совершенно другим: я молил Бога, чтобы Он все-таки совершил чудо, не трудно же Ему. Пусть оно будет глупым, нелепым, – какая, в конце концов, разница? Пусть бы мне позвонила Алина, а лучше – пусть бы пришла. Да! Пусть бы пришла, и оправдание у нее было бы вполне себе хорошее: посмотреть спектакль, который был поставлен ею… Однако, Господь, видимо, не видел смысла вершить такие чудеса.

Алины не было категорически.

Я плохо помню, как вышел на поклоны, как выводил актеров, как кланялся сам. За кулисами я наткнулся на Васю, который, как всегда бывало на моих премьерах, радостно принимал поздравления. Сказал ему, что отравился, ужасно себя чувствую, оставляю его за старшего и выскочил из театра, на ходу надевая пальто.

Я мчался к Алине. Я чувствовал, я знал, я был уверен, что сейчас, через несколько минут буквально, начнется у меня новая жизнь.

Но прямо у служебного входа я наткнулся на пожилого человека с «чеховской» бородкой, и, разумеется, в очках. Одет он был аккуратно, но подчеркнуто несовременно: драповое пальто, кашне, пыжиковая шапка, которая меня особенно поразила, я уж и не помню, когда такие видел.

Увидев меня, человек улыбнулся чуть виновато, и я понял, что ждет он именно меня. Этот немолодой мужчина принадлежал к довольно распространенной части зрителей, которые сами себя считают интеллигентами и от имени интеллигенции очень любят ругать мои спектакли за издевательство над классикой. Разговоры с такими молодящимися старичками всегда забавляли меня, но сейчас я совсем не был расположен развлекаться подобным образом.

– Здравствуйте, – сказал человек в пыжиковой шапке и протянул мне руку. – Сергей.

– И что? – я понимал, что ещё минута – и я просто его пошлю.

Человек посмотрел на меня внимательно. Ни злобы, ни раздражения я не смог прочесть в его взгляде, скорее там

отчаянно светилось любопытство. Он мягко улыбнулся:

– Вы не поняли. Простите. Точнее, я не объяснил… Как мило, что вы сами вышли, я уж думал просить кого-нибудь вас найти… Я – Сергей… Сергей Александрович, муж Алиночки.

– Что с ней? – кажется, я даже схватил его за отворот его дурацкого пальто.

Человек снова улыбнулся:

– С ней все в порядке. Настолько, насколько это возможно после того, что вы с ней сделали. Присядем?

Не дожидаясь ответа, он пошел к скамейке.

Я поплелся за ним, не до конца понимая происходящее.

Когда мы уселись на холодную скамейку, Сергей сказал с улыбкой:

– Вы знаете, а мне понравился ваш спектакль. – Я, правда, не понимаю, зачем объявлять войну Шекспиру, но, объявив ее, вы вышли победителем.

Он посмотрел на меня, видимо, ожидая реакции. Я не знал, как реагировать. Я вообще не знал, как с ним разговаривать, о чем и, главное – зачем. В который уж раз я подчинялся течению жизни, понимая, что куда-нибудь она меня да вынесет.

Меж тем он продолжил:

– Замечательный артист играет Гамлета. Даже удивительно, что сегодня есть молодые люди, которые столь осознанно могут сыграть столь сложную роль. Я, наверное, не интересно говорю? Я, видите ли, совсем не театрал, я – физик, доктор физико-математических наук, профессор, автор книг… Зачем я все это вам рассказываю? Это ведь не важно. Да! Это я к тому, что для меня высидеть целый спектакль – всегда испытание. А тут – нет. Интересно.

Он замолчал.

И я молчал. Я не знал, о чем его спрашивать.

– Да, кстати, – он вдруг оживился. – Алиночка была на премьере. Вам, наверное, интересно будет узнать, что спектакль ей очень понравился. Очень. Это правда. Да… Алиночка вообще всегда говорит правду.

– Сергей… – я задумался, вспоминая его отчество.

Он усмехнулся:

– Можно просто: Сергей. Мы ведь с вами практически близкие люди.

– Но чужие, – неожиданно сорвалось у меня с языка. – Близкие чужие люди. Так бывает.

Он удивленно посмотрел на меня.

– Сергей, вы пришли, чтобы рассказать мне ваши впечатления о моем спектакле? – я пытался говорить предельно спокойно.

Этот Сергей казался мне невероятно смешным в своем драповом пальто и пыжиковой шапке. И еще он очень забавно, как-то по-детски все время поправлял очки на своем носу. Хоть ты умри, но не мог я воспринимать его как соперника.

– Зачем я пришел? – Сергей поправил очки. – Во-первых, мне хотелось посмотреть на вас. Можете считать это простым любопытством. – Сергей внимательно оглядел меня и сказал со вздохом. – Вы, как я понимаю, знаменитый режиссер? Народный артист? Это, насколько мне известно, самое высокое звание у вас в театре. А я вот о вашем существовании впервые узнал от Алиночки. Вы уж простите…

– А, во-вторых?

Он снова задумался.

Я еще раз внимательно посмотрел на этого весьма пожилого, чтобы не сказать – старого человека, и вдруг подумал, как всегда некстати, что совершенно не могу представить себе, как он ложится с Алиной в постель.

– Во-вторых, – повторил он и вздохнул. – Видите ли, я, как вы можете заметить, намного старше Алиночки, и она мне как дочь. Вот. Когда она мне рассказала о вас, я очень страдал, но решил, что все – правильно, нормально, естественно. Да… – Он почесал голову через шапку, то есть, шапку почесал. Выглядело это совсем комично. – Алиночка говорила о вас, как женщина, потерявшая голову из-за любви. Вы мне вряд ли поверите, но я обрадовался за нее. Да-да, я обрадовался, что в ее жизни появилось настоящее чувство. Я ведь не идиот, я – доктор наук, у меня – книги… Впрочем, я это уже говорил… Я же понимаю, как может относиться ко мне такая женщина, как Алиночка… И тут вы – знаменитость, человек искусства, народный артист… Значит, народ вас любит и знает. Вот.

Он замолчал. И я молчал. Я с трудом осознавал происходящее и совершенно не понимал, как и что мне говорить.

Сергей улыбнулся как-то виновато и продолжил:

– Знаете, когда Алиночка хочет меня обидеть, она называет меня бубликом. Ну, потому что сухарь – это ей кажется слишком, и тогда она – бубликом. А я не обижаюсь, потому что она – права… Да…

Он снова внезапно замолк.

Мимо шли артисты. Они улыбались и кивали мне, кто-то даже сказал что-то про успех. Я даже, вроде, ответил. Подошла зрительница, протянула программку, чтобы я расписался. Я расписался, сказав при этом какие-то вежливые слова. Потом всё схлынуло. Мы опять сидели и молчали. Мне казалось, что прошла вечность. Наконец, он прошептал:

– Ну, ладно, – и поднялся.

Я решил, что разговор окончен.

Но он развернулся ко мне и заорал, глядя на меня сверху вниз:

– Если бы ты сумел ее оценить, то, поверь, я бы сделал все, чтобы ваша жизнь была прекрасна! Ясно тебе? Ясно? Я бы исчез навсегда, я бы не показывался! Я бы подыхал тихонечко где-нибудь на даче, чтобы только вам было хорошо! Но ведь ты ее не понял! Не оценил! Ты заставил ее страдать! – Он схватил меня за отворот пальто и заорал прямо в лицо. – Ты хоть понимаешь, что ты – подонок?! Только подонок может не оценить такого счастья, когда оно само идет к нему в руки!

Он отпустил меня и опустился на скамейку, тяжело дыша.

Мы сидели молча, отвернувшись друг от друга. И снова молчание прервал он:

– Простите за резкость.

– От меня вчера ушла жена, – сказал я. – К другому.

Это сообщение не произвело на него никакого впечатления. Он повернулся ко мне и произнес совершенно спокойно:

– И ты решил, что теперь дорога к Алиночке свободна? Послушай, ты ведь ее не любишь. Тебе нужна ещё одна женщина в твою коллекцию? Так ты погляди, сколько их по театру твоему носится. Зачем же ты портишь ей жизнь, разве она это заслужила? Уж если она ушла от тебя и в истерике позвонила мне… За помощью позвонила, потому что ей некуда было больше… Вот. Она ушла от тебя и мне позвонила – значит, ты не понял ее. Не понял, не полюбил. Получается, что она не нужна тебе, а мне…

Сергей так внезапно прервался на полуслове, что я решил, будто ему стало плохо. Но он быстро продолжил:

– Отстань от неё, а? – Он не требовал, не угрожал: просил. – То, что ты мне сломаешь жизнь – хрен с ним, моя жизнь не дорого стоит, хотя я – профессор, доктор, у меня – книги… Не важно. Отстань, а? Ты в курсе, что у твоего сына роман с нашей дочкой?

– Что? – я вскочил и снова рухнул на скамейку.

– Вижу: не в курсе. Что ж ты за отец такой, если не знаешь, на ком хочет жениться твой сын?

– Жениться?

– Да. Судя по всему, дело идет к свадьбе и нам всем еще предстоит сродниться. Так что мы все будем видеться… Вот. И я прошу тебя, как человек, для которого нет в мире никого дороже Алины: отстань от неё. Мы с ней нормально живем. Быть может, в нашей жизни не хватает яркости, но зато в ней много тепла. Яркость ведь все равно рано или поздно тускнеет, а без тепла –

как прожить? Если бы ты понял мою Алиночку, полюбил бы если… Я бы тогда, конечно… Я это уже говорил. Если у тебя осталось хоть немного совести, не мешай нам жить.

Сергей встал и, не попрощавшись, пошел от театра.

Я проводил его взглядом и только тут заметил Алинину машину. Значит, она знала, что ее престарелый муж будет со мной говорить.

Вдруг Сергей развернулся и бросился ко мне. Бежал он смешно, по-старчески приволакивая ноги и поправляя очки. Пыжиковая шапка сползла на бок, обнажив его лысеющую голову.

– Так значит… – Он дышал тяжело, говорил с трудом. – Так значит… Говоришь… От тебя жена ушла… Так вот я хочу тебе сказать, можешь мне не поверить… Господи, зачем же я бежал?.. Я хочу тебе сказать, что можешь про Алиночку забыть теперь… Теперь – навсегда, это уж точно… Она ведь хотела, чтобы ты совершил ради нее поступок, чтобы ты ее выбрал, чтобы ты доказал свою любовь… Чтобы ты пришел к ней ради новой жизни, а ты испугался… Ведь ты испугался, если честно? – Несколько раз он глубоко вздохнул. – Дыхание тяжело налаживается… Не важно… В свое время ради нее я ушел от жены, моя старшая дочь до сих пор меня сторонится… Но зато Алина со мной. И Машка… Ты ведь не пацан уже, ты – режиссер, артист всенародный, про Гамлета ставишь… Неужели ты не понимаешь: если хочешь открыть дверь в новый дом, затвори дверь в дом старый?.. Знаешь, что я тебе скажу? Никогда… Слышишь ты – никогда, даже, когда она ушла к тебе, я не жалел о том, что пришел к ней… Потому что так или иначе, но у меня было полтора десятка счастливых лет… Я забыл мысль… Да что ж с дыханием-то такое?.. Да! Она никогда не простит тебе, что ты не совершил поступка, чтобы быть с ней рядом… Ей не нужен человек, который пришел к ней потому, что ему больше некуда деться, понимаешь меня? Я это не из злобы говорю. Ты ведь умный человек, я это по спектаклю твоему понял. И ты не можешь не понять, что я прав.

Он развернулся и побежал к машине.

Я видел, как из автомобиля вышла Алина, как он бросился к ней, как они обнялись. Как она начала его ругать. Я не слышал слов, но понимал, что она ругает его за то, что он бегает. Потом они сели в машину и уехали.

Помнишь, я говорил тебе когда-то, что жизнь – это женщина? Я прав: конечно, жизнь – это баба, потому и предает с такой легкостью, по-женски.

x x x

Я пришел домой. Сел за компьютер. Открыл новый файл. Назвал его «Письмо к сыну» и начал писать то, что ты вряд ли прочтешь.

Я не ходил в театр, сославшись на болезнь, я вообще никуда не выходил из дома. Вспоминать то, что со мной было – оказалось единственным занятием, которое, если и не приносило мне радость, то позволяло жить. Вот именно – жить. Я испытывал все заново, понимаешь? Я жил свою жизнь еще раз, и мне искренне казалось, что я не знаю, чем закончится та или иная ситуация.

Знаешь, кого мне больше всего не хватало в эти дни? Нашего Кузьмы, пса нашего – единственного существа в моей жизни, которому ничего не надо было объяснять и который любил меня просто так. И мне снова захотелось найти его могилу, просто поехать, сентиментально посидеть – почему нет? Но я так и не удосужился узнать у твоей мамы, где похоронен Кузя, а теперь звонить ей… Сам понимаешь.

Знаешь, зачем нам даны собаки? Чтобы мы не позабыли, что мы – люди. И больше ни за чем. Ну, ладно… Грустно мне… Когда я писал это бесконечное письмо, понимая, что ты не прочтешь его, – мне всё время было грустно. Ну, и ладно…

Иногда появлялся ты, бросал мне: «Привет!» и уходил в свою комнату. Прости, сынок, но мне не хотелось прерывать свою работу даже ради разговоров с тобой. Мне очень хотелось дописать все до конца, распечатать и прочесть эту рукопись, как чужую жизнь.

Что я и сделал. Когда я положил перед собой готовую, распечатанную рукопись, я совершенно не представлял, чем мне теперь заниматься…

ЭПИЛОГ

Привет, пап!

Как ты там вообще? Нормально все? Говорят, тебя сегодня перебросят из реанимашки в нормальную палату и тогда я смогу передать тебе эти слова. Пишу заранее потому, что, когда тебя перекинут, у меня уже может быть зарез со временем. А сейчас – не зарез. И вот пишу, значит.

Ну, ты дал, конечно, конкретно. Хорошо, что тебе поплохело, когда я был дома и сидел за компом без ушей, то есть – без наушников. Вдруг слышу: стук в твоем кабинете, причем, такой конкретный, словно упало чего-то тяжелое. Ну, думаю, сейчас услышу чисто нецензурную реплику в твоем исполнении. Ни фига. Тогда, думаю, надо глянуть, чё там, да как… А там папа мой родной на полу лежит практически в несознанке.

Врач «Скорой», с которым мы тебя на носилки стелили, сказал, что приехали они вовремя. И это – чудно. Потому что в мои планы совершенно не входило – потерять отца в столь юном возрасте.

Врач оказался мужик классный, конкретный, сразу сказал, сколько надо забашлять, чтобы у тебя все было о`кейно. Хорошо, что у меня и у Машки (в основном, если честно, конечно, у Машки) были деньги.

Так что теперь ты выздоравливаешь. Врач сказал: инфаркта у тебя нет ни фига, типа ничего жизненно важного не задето. В общем, всё суперски обошлось.

Письмо твое ко мне я на твоем письменном столе нашел, и, чтоб ты знал, прочитал от начала и до конца, хоть ты и сомневаешься все время в моих умственных способностях. Но взрослые всегда считают, что дети дурнее, чем они, – я к этому привык уже, меня это все давно не колышит, извини.

Конечно, многое из того, что ты там насочинял про маму, мне было читать довольно отвратно, но вообще, в целом, цепляет, скажу тебе, интересно.

Спасибо тебе. Не, правда, я без издевок, – спасибо. Я, короче, читал, читал и вдруг врубился: нету вокруг меня ни одного такого человека, кому бы их отец написал такое письмо: прикинь, ни одного. И если тебе понадобилось именно конкретно мне все это рассказать – то спасибо. Я даже решил тебе письменно ответить, представляешь?

Хочу тебе сразу сообщить, что я в курсе, кто такой Мейерхольд и что такое Эльдорадо. Пап, ты, конечно, извини, но, по-моему, ты никак не въедешь, что мы с тобой живем в одном

мире – том самом, где Чехов и Шекспир. Мне, как и тебе, все эти политические встряски за окном – по фиг дым, а пьесы читать мне нравится. Знаешь, как у нас говорят: прикалывает меня это, понимаешь? Потому что, когда я читаю пьесы, у меня в голове придумывается мир, в котором происходит действие. Потому что я буду художником.

Сценографом я буду, если, конечно, примут. Я надеюсь, когда ты из больницы выйдешь, ты поспособствуешь родному сыну в поступлении, наверняка там у тебя – вагон знакомых.

Так, спокойно, не надо вскрикивать и хвататься за сердце: тебе сейчас вообще нельзя волноваться. Гены, отец, – большое дело, это, как говорят у вас в больнице, медицинский факт. И не надо мне выговаривать про ужасы театра. Видали мы ужасы и поужаснее.

Короче, хочу заползти в театр с этой вот стороны. Что ты мыслишь по поводу того, чтобы сварганить спектаклик – другой со своим сыном? Крутая идея, а? Пап, я тебя не подведу. Если хочешь знать, я реально считаю тебя одним из лучших современных театральных режиссеров. Многие из моих друзей считают, что твой «Вишневый сад» конкретно вставляет… Ты извини за сленг, но они так говорят. И это высокая оценка, пап. И «Гамлет», между прочим, у них вполне себе прокатил.

Врачи говорят, после больницы тебе нужен отдых. То есть, конкретно: ты будешь торчать дома и тосковать. Выдержишь ты, понятно, недолго, но я советую тебе использовать это время, чтобы познакомиться поближе со мной, со своим сыном то есть. Мне кажется, тебе будет интересно.

Нормально было читать в твоем письме, что я забыл дочку Алины Владимировны и Сергея Александровича – Машу. Ни фига себе! Хочу тебя, отец, еще раз конкретно удивить, только ты не психуй опять, ок? Короче, мы с Машкой намылились поставить государство в известность о наших отношениях, расписаться, то есть. И жить мы собираемся в нашей хате, если ты не возражаешь. А ты не возражай, потому как одному тебе там будет тоскливо, а со мной и с Машкой не соскучишься – это тоже медицинский факт.

Ты, пап, наверняка хреново относишься к ранним бракам. Только, знаешь, я совсем не хочу лопухнуться и упустить свою любовь. Кстати, Машка – это как раз тот самый чел, рядом с которым я хочу стареть.

Машка никому не говорит про это, но я знаю, что она хочет быть актрисой. Извини, но, по-моему, ты очень грубо написал в письме своем, что актрисы, мол, не женщины, а манекены. Ты ж это просто так написал. Для красивости пущей, правда?

Кстати, пап, ты не забыл, что тебе уже не 47, а почти полтинник накатило? А мне вот-вот долбанет 18? Самое оно строить свою хату, даже если и под твоей крышей, правда же?

Я знаешь, чего тебе хочу сказать? Главное, чему вы научили меня с мамой, – это тому, каким НЕ должен быть дом. (НЕ я выделил, потому что это козырное слово здесь). И вот мы с Машкой построим такой дом, в котором … как там у тебя написано-то?.. – будет и ярко, и тепло. Ага. Так конкретно и будет. Кстати, пап, как ты относишься к тому, чтобы типа понянчить внуков? Мы с Машкой решили это дело не оттягивать, потому как нам кажется, что чем моложе родители, тем лучше они врубаются в проблемы своих детей.

Ну вот. Если честно, то мне в твоем письме совсем не понравилось, как ты про маму писал… Как сказать?.. Высокомерно и равнодушно. Ага. Но чего-то, в результате, мне все равно стало тебя жалко… Может, потому, что я вспоминаю все время, как ты, беспомощный совсем, лежал в своей комнате. Ты знаешь, я тебя всяким видел до этого, а вот беспомощным – никогда…

Короче, знаешь, чего? Я когда читал то, чего ты написал мне, понял, что очень тебя люблю. Конкретно так врубился, по правде. Мне тебя стало жалко как-то. Вся вот эта суета… Ты только не обижайся… Суеты очень много.

У мамы нашей все о`кейно. Она, конечно, тут же примчалась к тебе в больницу со своим… этим… даже не помню, как этого козла зовут. Не важно. Мамусик убедилась, что у тебя все нормально, и укатила за границы нашей Родины. Но на свадьбу мою обещала приехать, хоть мне это, честно говоря, и фиолетово. Но если она приедет, вы все и увидитесь – всей нашей типа большой и дружной семьей. Ха-ха-ха! Шутка.

Кстати, Алина Владимировна и Сергей Александрович – чудесные люди. Что там у тебя получилось – не получилось с Алиной Владимировной – это все твоя фигня. Но ты как-то внутренне готовься к породнению с ними. Очень надеюсь, пап, что ты не наделаешь каких-нибудь глупостей.

Ну вот. Если хочешь знать, то, когда Сергей Александрович по твоей вине отвалил от Алины Владимировны, Машка конкретно страдала. Я даже хотел с тобой по этому поводу переброситься, но как-то все очень быстро вернулось в исходное положение. Она совершенно удивительная, Машка, и я совсем не хочу больше видеть ее слез.

Пап, я вообще-то очень тебя люблю и ты мне нужен. Я, правда, не знаю, как говорят отцу хорошие слова, но ты мне просто поверь – и все. Ты, пожалуйста, давай выздоравливай

скорей, мне надо много чего с тобой перетереть. Накипело, как говорится. И зря ты считаешь, что мне твои советы – по фигу. Извини, но, когда взрослые смотрят на нас, как на идиотов, да еще и глухих, – это глупо и банально. Пап, я тебе по чесноку говорю: мы не такие кретины, как вам иногда хочется думать.

Да! Сразу скажу, чтобы потом лишних терок не возникало: если ты вдруг захочешь меня познакомить с какой-нибудь дамой – нет вопросов! Нам с Машкой будет очень интересно.

А из письма, которое ты написал, я советую сделать роман. Имена, понятно, придется поменять, но роман известного режиссера о любви – это круто. Я даже название придумал: «Исповедь уставшего грешника». По-моему, не хило. Или обидно для тебя? Ну, ты сам, короче, решай: ты же автор. Но роман сделай. Не стоит упускать такой возможности прославиться, и денег подзаработать.

Да! Самое главное! Я попросил Машку, чтобы к твоему выходу из больницы она сделала тебе котлеты. Представляешь? Ты придешь домой, а тебя котлеты ждут. Машка замечательно готовит, не хуже, чем…

Ну ладно. Все. Я и так слишком много написал. До скорой!

Твой сын Александр

x x x

…Как стало известно нашему культурному агентству, известный режиссер … приступил к постановке знаменитой пьесы Кнута Гамсуна «Перед заходом солнца» о любви пожилого человека и молодой девушки. Последняя постановка … «Гамлет» Шекспира вызвала не однозначную реакцию. С одной стороны, исполнитель заглавной роли получил премию «За лучшую мужскую роль сезона», с другой – реакция критиков была в основном негативной.

Известно, что художником нового спектакля выступит сын знаменитого режиссера, а главную женскую роль сыграет выпускница театрального института, которая долгое время работала в театре секретаршей, но режиссер разглядел в ней талант и доверил ответственную работу. Фамилия актрисы неизвестна, но только нашему агентству удалось узнать, что ее зовут Ольга.

Видимо, режиссер снова представит нам неожиданный взгляд на классическую пьесу, поскольку нам удалось выяснить, что спектакль будет носить весьма странное, название: «Господи, это каким же надо быть дураком, чтобы любить жизнь?»

До встречи на премьере!

ВЫХОД ИЗ КНИГИ

Марк МАКСИМОВ

Мозоли уже и от них на плечах —
От послевоенных гробов.
Отцы – при свечах, сыновья – в кумачах.
А как умирает любовь?
За то, что единственной долго слыла
На грешной земле и в раю,
Она одиночеством платит сполна
За неповторимость свою.
Ни плакальщиц с ней, никого -
пустота,
Как в вымершем доме – в душе.
Сестра милосердия – ревность,
И та спасать отказалась уже.
Лишь следом плетутся, толсты и наги,
Малютки Амуры во тьме.
И учатся первые делать шаги
Пешком.
По бескрылой земле.